

ВЛАДИМИР МАТВЕЕВ ТОСКА

K R E  
S C H A  
T I K

International

Literary

magazine

Владимир  
МАТВЕЕВ  
ТОСКА

БИБЛИОТЕКА «КРЕЩАТИКА»  
ПОЕЗІЯ, ПРОЗА, ПУБЛІЦИСТИКА



ДРУКАРСЬКИЙ ДВІР  
ОЛЕГА ФЕДОРОВА



Владимир  
**МАТВЕЕВ**

# ТОСКА

Фантастический  
роман

Друкарський двір  
Олега Федорова  
Київ, 2024

УДК. 821.161.8'19-2  
М-33

СЕРІЯ «Бібліотека “КРЕЩАТИКА”»  
Заснована в 2023 році

**Матвеев В.**

М-33 Тоска / В. Матвеев — Друкарський двір Олега Федорова  
2024 — 240 с.

ISBN 978-617-8252-17-5

« — Теперь моя совесть чиста! — радостно сказал я санитарке, покидая поднадзорную палату. — Теперь я могу опубликовать рукопись под своим именем! Я стану личностью!

А потом, вдобавок ко всему, поступаю в университет на факультет вещей снов и, выучившись, стану профессором вещей снов. Вы представляете? Я стану единственным в мире профессором вещей снов!

— Факультета вещей снов не существует, — сказала санитарка.

— Ну и что? Подождем, пока появится!

— Дурак ты, — беззлобно сказала санитарка.

— А может, я мечтатель.

— Мечтательный дурак, — санитарка охарактеризовала меня окончательно...»

**УДК 821.161.8'19-2**

ISBN 978-617-8252-14-4 (серія БК)  
ISBN 978-617-8252-17-5

© Матвеев В., 2024

© Федоров О.М., видавець, Київ 2024

Есть мучительный контраст между радостью данного мгновения и мучительностью, трагизмом жизни в целом. Тоска, в сущности, всегда есть тоска по вечности, невозможность примириться с временем.

*Николай Бердяев*

## ГЛАВА 1

Ты видел звездное небо, приятель? Наверняка видел. Но вряд ли ты видел в нем Райский Дворец Абсолюта. Но это ничего, это не страшно. Я с тобой поделюсь, я скоро расскажу тебе о нем, а ты пока из окна моей лачуги полюбуешься на звездное небо, если, конечно, оно тебя не ужасает. Я лично перед лицом вечности немею.

Да, следует заметить, что бóльшую часть этой рукописи — вон какой толстой — написал не я. Я нашел её под матрасом в психиатрической больнице, где лечился от депрессии. Когда я прочел ее, я попытался узнать, где психическая личность, которая до меня лежала на этой кровати, и мне ответили, что на ней спал мужчина с белой горячкой. Фамилия у него была Сидоров. После белой горячки он сошел с ума и поэтому был переведен в поднадзорную палату. И вот — как сейчас помню — я подошел к двери в поднадзорную палату и спросил у сидящей рядом на скамеечке толстой, похожей на бочонок, санитарки: «Сударыня, можно ли мне познакомиться с Сидоровым?».

— Хотите узнать, его ли это рукопись? — спросил она. — В-первых — не его. А во-вторых — он совершенно невменяем.

— Ну, хоть изредка он приходит в себя?

— Очень изредка.

— А вдруг мне повезет?

— Ну, что ж, входите, коли не брезгуете. Только будьте с ним предельно вежливы.

Она ключом открыла дверь, наподобие тюремной, с маленьким окошечком, я вошел и увидел следующую картину: больные, посапывая и похрапывая, мирно спали в своих кроватях, укрывшись одеялами, и лишь один бодрствовал. Он стоял ко мне впол-оборота и мочился в пластмассовый кувшин. Я подождал, покуда он не кончил, и, будучи самой вежливостью, сказал:

— Простите, сударь, что беспокою вас в столь ответственный момент, но мне нужен господин Сидоров. Не вы ли, уважаемый и даже высокочтимый, и даже богоравный господин Сидоров?

Мужчина ничего не ответил. Он взял с подоконника пластиковый стаканчик, наполнил его желтоватой жидкостью из кувшина и протянул мне со словами: «Пейте кофе, пока теплый».

— Извините, пожалуйста, но разве это кофе?

— А что же еще? — спросил он и добавил: — Вы, что ли, не знаете, что в начале было слово?

— Да, есть такая теория, — сказал я.

— Это не теория, это — истина. Вся вселенная состоит из слов. Поэтому, если я, Иисус Христос, говорю слово «кофе», значит это кофе. Вы, что ли, забыли, как я превращал воду в вино?

Он налил себе из кувшина и, прихлебывая, торжественно промолвил:

— Вот ведь каких высот может достичь человеческий дух! Пейте!

— Извините, пожалуйста, но у меня повышенное давление, — сказал я, пряча руки за спину. — Мне кофе нельзя. Мне бы узнать, не вы ли господин Сидоров?

— Я с этим ничтожным самозванцем не желаю иметь ничего общего. Он мажет стены говном.

— И все-таки, где он?

— В туалете.

Я прошел в туалет и увидел коренастого лысого мужчину лет сорока, который доставал что-то из унитаза и мазал этим белые кафельные стены.

— Простите, это не вы высокоуважаемый и даже высокочтимый, и даже богоравный господин Сидоров? — вежливо спросил я.

— Я не Сидоров. Я Будда, — не прерывая творческого процесса, сказал Сидоров.

— Но мне Иисус Христос сказал, что вы Сидоров.

— А-а-а... этот самозванец... Я с этим ничтожеством не желаю иметь ничего общего, он пьет мочу.

— Простите, что прерываю ваш творческий поиск, а может даже, уже процесс, но вы мне нужны, — сказал я.

— А не пошел бы ты на... — злобно сказал Сидоров, не прерывая творческого процесса.

— Извините, но я насчет рукописи. Она ваша?

— Может, моя, а может, и не моя, — по-прежнему не отрываясь от процесса, сказал Сидоров.

— Не соизволите ли взглянуть?

Сидоров вытер свои цвета детской неожиданности руки о больничный халат, подошел, взял рукопись, пролистал и сказал:

— Не моя. Я такой ерундой не занимаюсь.

— Тогда извините, пожалуйста, — сказал я, сунул рукопись подмышку, пожелал Сидорову творческих успехов и ушел.

— Теперь моя совесть чиста! — радостно сказал я санитарке, покидая поднадзорную палату. — Теперь я могу опубликовать рукопись под своим именем! Я стану личностью!

А потом, вдобавок ко всему, поступлю в университет на факультет вещей снов и, выучившись, стану профессором вещей снов. Вы представляете? Я стану единственным в мире профессором вещей снов!

— Факультета вещей снов не существует, — сказала санитарка.

— Ну и что? Подождем, пока появится!

— Дурак ты, — беззлобно сказала санитарка.

— А может, я мечтатель.

— Мечтательный дурак, — санитарка охарактеризовала меня окончательно. — Личностью он станет! Ну — нет! Определенно, ко всей твоей никчемности ты станешь еще и вором, то есть еще более жалким и никчемным человечешкой. Ведь к своим сорока годам ты не построил дом (жалкая лачуга на окраине города досталась тебе от деда). Ты не посадил дерево (яблоню, черешню и грецкий орех тоже посадил твой дед). И понятно, что у тебя никогда не было ни друзей, ни женщины. Кому же хочется каждый божий день видеть возле себя такую кислую рожу? Потому-то ты, естественно, не родил и не вырастил детей. Эти дети, что время от времени появляются у тебя во дворе, — не твои. Просто ты сделал им неплохие качели. А кроме того, ты позволяешь им безраздельно пользоваться плодами твои.... Чуть было не сказала «твоего сада», но опомилась. Не твоего! Не твоего! Дедушкиного!

— Откуда вы все это знаете? — изумился я.

— Я — ведьма.

— А разве ведьмы существуют? — снова удивился я. — Разве вас всех не сожгли во времена Средневековья на кострах?



— Сжигали только худых ведьм. Вернее, ведьмами считались лишь те, которые могли проскользнуть через дымоход. А я, как видишь, через дымоход не проскользну. Ну, что ты грустный такой? Нет причин для грусти. У тебя все плохое позади, а впереди только хорошее.

— Вы думаете?

— Я знаю. Я — ведьма.

— Вы какие-то ведьминские курсы оканчивали? Или институт?

— Ты ведь тоже не оканчивал какие-то курсы или институт, а, тем не менее, ты писатель.

— Вы заглядываете слишком далеко вперед. Я бы сказал осторожнее. Может быть, я стану писателем. В детстве я, знаете ли, сочинял сказки, а в юности прочел немало книг и очень часто сталкивался с тем, что мысли, идеи, сюжеты и образы их авторов были созвучны и моим собственным мыслям, идеям, сюжетам и образам. Мне иногда казалось, что я могу написать не хуже, только вот из-за депрессии никак не удавалось засесть за письменный стол.

— Но теперь решайся, пора, — сказала ведьма.

— Но прежде я набью руку на найденной мной рукописи, попытаюсь улучшить ее и дополнить.

— Попытайся, — сказала ведьма. — Тут ничего зазорного нет. Сам Вильям Шекспир не гнушался улучшать и дополнять произведения старых авторов.

— Да, — сказал я. — И еще Овидий, древнеримский поэт, перекраивал на свой, древнеримский лад, мифы Древней Греции. Не я первый.

## ГЛАВА 2

У подъезда многоэтажного дома остановился катафалк. Вышли трое, и двое из них начали выгружать красивый лакированный гроб. Третий же, высокий русский молодой человек, симпатичный, но с портящим его мрачным выражением лица, открыл дверь подъезда.

— Кому это, Ваня? У нас вроде никто не умер? — спросила со скамейки у подъезда крупная полная женщина лет пятидесяти в оранжевой фуфайке дворника.

— Мне, — ответил Иван.

— Как тебе, ты же живой? — недоуменно спросила она.

— Надо думать о будущем, Полина Васильевна,— сказал Иван.

— Ты, наверное, пошутил, а, Вань? Рано еще тебе думать о таком будущем.

— Не рано. Умру я скоро, Полина Васильевна.

— Откуда ты знаешь, что скоро умрешь? — спросила Полина Васильевна, но Иван уже скрылся в подъезде, и ответа на вопрос она не получила.

— Он что сказал? Что скоро умрет? — спросила сидящая рядом старомодно и бедно одетая сухонькая маленькая старушка с румяными щечками и в белом платочке.

— Что скоро умрет.

— А откуда он это знает? Я, например, уже старая, а не знаю, когда умру.

— Наверно, серьезно болен. Безнадежно. Да, жаль тогда парня. Только вышли его афоризмы и юмористические рассказы — и на тебе, в гроб. Да, жалко парня...

— Какие афоризмы и рассказы? Он что, писатель?

— И писатель тоже.

— Никогда не поверю! Какой из него писатель? Писателя сразу видно, у писателей лица серьезные, строгие и умные, как у начальников, только добрые. Вы на Тараса Григорьевича Шевченко хотя бы посмотрите, какой он и строгий, и умный, и грустный, и добрый. Подойди к тебе такой на улице и скажи: «копай», и ты будешь копать, хотя он тебе и не начальник. Нет, никогда не поверю, что такой может быть писателем. Он какой-то злой. Вот если бы вы сказали, что он рок-музыкант, я бы поверила. Такой же длинноволосый и худой. Такой любит только «бум, бум, бум». Такой не любит «садок вишнэвый коло хаты». А у меня, знаете ли, когда я про садок читаю, так тепло на душе становится, так тепло! Млею, прямо! А когда его «Катерину» читаю, то всегда плачу. Спрашивается: зачем читаю, если плачу, если страдаю? А я все равно читаю. Плачу, страдаю, а читаю. И чувствую, что становлюсь лучше. Чище, добрее. А он? Как он может делать людей чище и добрее с таким злым лицом? Нет, не похож он на Шевченко!

— Да что вы заладили, Вера Львовна, Шевченко да Шевченко! Во-первых, Шевченко не писатель, а поэт, а во-вторых, стран-

ная вещь получается: никто, кроме, простите, таких отсталых людей, как вы, в Сельхозугодии его не читает, но, тем не менее, почему-то со школьной скамьи на вопрос: кто ваш любимый поэт, принято отвечать: Тарас Григорьевич Шевченко. Школьник из Сельхозугодии никогда не скажет: я терпеть не могу Шевченко, потому что боится, что ему за это что-нибудь будет. Хотя русский школьник вполне может сказать: я терпеть не могу Пушкина. Немецкий школьник вполне может сказать: я терпеть не могу Гете. А израильский школьник вполне может сказать: я терпеть не могу Шолом-Алейхема.

— Зря вы так, Полина Васильевна. И украинский школьник вполне может сказать: я терпеть не могу Шолом-Алейхема.

— Не будем продолжать, Вера Львовна.

— Почему?

— Потому что, вы не обижайтесь, Вера Львовна, но вы с головой не всегда дружите. Хотя это и понятно. Вы всю жизнь проработали в селе дояркой. Вам мозги нужны не были.

— Вы хотите сказать, что я дура? А я вовсе не дояркой работала, а оператором машинного доения. Знаете, какая у нас аппаратура сложная? Кнопочки всякие. Не то что ваши метла и совок. Так что я не дура. Я, например, знаю, что такое Мёзия. А вы знаете, что такое Мёзия?

— Не знаю. Ну и что же такое Мёзия?

— Это такая древняя страна.

— Насколько древняя?

— Ну, где-то четыре тыщи лет тому назад она существовала. Сейчас она не существует.

— Вера Львовна! Сейчас 3017 год! Сейчас даже Киева не существует, он после Третьей Мировой войны превращен в радиоактивные развалины. И Украины не существует, а существует Сельхозугодия, империя со столицей в Хитропупинске с Великим Гетманом Брехунцом во главе, ассоциированная с Евросоюзом буферная держава, распростершаяся после Третьей Мировой войны от Карпат до Уральских гор. И России не существует, а существует Московия с царем во главе. Не существуют ни Франция, ни Германия, как отдельно взятые страны, а существует Единый Европейский Союз. Не существуют США и Великобритания с Австралией и Новой Зеландией, а существует Единый Англосаксон-

ский Союз. А пройдет еще тысяча лет, и люди забудут и про Сельхозугодию, и про Евросоюз, и про Московию, и про Китай, потому что мир будет единым и унифицированным, до того унифицированным, что все национальности исчезнут.

— Зачем вы мне все это рассказываете?

— Затем, что вы, вы меня извините, человек темный.

— Я не темный. Какой же я темный, если я работала оператором машинного доения? Знаете, какая аппаратура у нас была сложная? Кнопочки всякие. Дура бы с ними не управилась бы. Дура бы не на те кнопки нажимала бы. Так что я не дура. Мне даже чайный сервиз, когда я уходила на пенсию, подарили. Дуре бы разве бы подарили бы? И потом, вы так без печали об этом говорите, что мир будет унифицирован. Вам что, вышиванки и пи-санки не жалко?

— Крашенные яйца мне жалко, потому что, с одной стороны, жалко, что сельхозгодники потеряют свою идентичность, забудут свой язык, перестанут красить свои яйца, но, с другой стороны, разве плохо, если мир будет един? Кончатся все распри и войны, мы не будем тратить на вооружение и станем настолько богаты, что каждый простак сможет позволить себе купить велосипед.

— Пряма каждый-каждый?— недоверчиво спросила Вера Львовна. — Никогда не поверю!

— Каждый, каждый! Клянусь своим велосипедом!

— У вас нет велосипеда, Полина Васильевна.

— Нет. Для меня, как и для многих, велосипед — роскошь, а почти во всем остальном мире велосипед не роскошь, а средство передвижения. Даже автомобиль у них не роскошь, а средство передвижения.

— Как все-таки бедно мы живем! — горько посетовала Вера Львовна. — Просто я сравниваю, как живут простаки там, и как мы здесь. По телевизору видела.

— Вы, Вера Львовна, клянусь своим велосипедом, опять что-то не то говорите. Кроме нас люди нигде не делятся на простаков, не имеющих права владеть частной собственностью, и хитропухих. Есть просто люди, и у всех равные права. С одной стороны, это кажется несправедливым, но надо мириться с фактами.

А факты говорят, что из-за вымывания мозгов с территории Сельхозугодии, мозгов у нас не осталось. Так что пусть уж нами, черт с ним, что воры они все, но пусть правят хитропупые, получившие образование за границей. Мы бы сами не управились. Все равно разорились бы. Бардак был бы полный, потому что засесть в Раде и умело владеть частной собственностью: заводами, фабриками, сельхозугодиями — это вам не кнопки нажимать.

— Внимание! внимание! — раздалось из громкоговорителя, висящего на стене дома. — Возможна ракетная атака!

— Ну почему эти москали такие агрессивные! — возмутилась Вера Львовна. — Никак, никак не могут утихомириться!

— В газетах писали, что в сибирской почве не хватает каких-то важных для организма веществ, потому они такие агрессивные.

А еще писали, что долгоносики уничтожили все березы, необходимые для производства балалаек, — сказала Полина Васильевна.

— Какие долгоносики? Армяне, что ли?

— Вы, Вера Львовна, опять свое бескультурье и необразованность свою выказываете. При чем тут армяне? Разве армяне долгоносики? Долгоносики — это жучки такие.

— Поэтому москали такие агрессивные?

— И поэтому тоже. Тоскливо им без балалаек!

Завыла сирена, и Вера Львовна, вскочив со скамейки, закричала:

— Побежали в бомбоубежище! Быстрей! Быстрей!

— Не побегу, — спокойно сказала Полина Васильевна. — Сколько было воздушных тревог, а еще ни одна москальская ядерная ракета на территорию Сельхозугодии не попала. Спасибо гетману Брехунцу, спасителю Сельхозугодии. Это он закупает на Западе противоракетные системы, сбивающие москальские ядерные ракеты.

— А я побегу, я боюсь!

— Бегите. А я не побегу. Я верю Брехунцу.

— Какая вы все-таки смелая!

— Не столько смелая, сколько умная.

Вера Львовна заспешила в подъезд, в бомбоубежище, а Полина Васильевна, взяв метлу, принялась подметать двор.

## ГЛАВА 3

Когда меня выписали из больницы и я, выйдя за ворота, на прощание троекратно обнялся с ведьмой, ко мне, держа под уздцы какого-то крылатого серого коня в яблоках, подошла молодая блондинка в белой одежде, через которую просвечивалось белое тело, взяла меня под руку и, прижавшись ко мне, промурлыкала:

— Ну, здравствуй, милый. Теперь я твоя.

— Извините, но вы, наверное, ошиблись. Вы, наверное, приняли меня за другого человека, ведь я вас совсем не знаю.... — оторопел я.

— Ты знаешь, что такое депрессия? — спросила она.

— Это такое психическое состояние, — ответил я. — И оно мне очень хорошо знакомо.

— Еще ее называют Дама в черном. Так вот я — ее полная противоположность. Я — Дама в белом, и имя мое — Прессия.

— Я крайне, крайне удивлен, — сказал я. — Вы очень, очень симпатичная женщина. Настолько симпатичная, что вам, достойной большего, вряд ли понравится моя лачуга и мои более чем скромные доходы.

— С милым рай и в шалаше, — промурлыкала Прессия.

— А где мы будем держать лошадь? Да и кормить ее надо, — сомневался я.

— Эх ты, невежда, — сказала Прессия снисходительно. — Ты не знаешь элементарных вещей. Пегаса содержать не нужно. Он — вольная птица, но хоть он и вольная птица, он мне полностью подчиняется и прилетает по первому моему зову. Достаточно только сказать: «Сивка-бурка, вещая каурка, встань передо мной, как лист перед травой». Ну — забирайся!

— Но я никогда не ездил на лошади, тем более летающей, — возразил я.

— Это нетрудно. Берись за вот эту штуку и ставь ногу в стремя. Я кое-как забрался на Пегаса и спросил:

— А вы?

— Я полечу на метле, — сказала Прессия.

— На метле? — удивился я. — Разве вы ведьма?

— И ведьма тоже.

— А где вы возьмете метлу? — спросил я.

— Да везде, посмотри вверх. Вон их сколько летает.

Я задрал голову и сказал:

— Действительно, в небе темно от метел. Как же я раньше не замечал?

— Ты многого раньше не замечал, — сказала Прессия, потом сунула два пальца в рот и оглушающее свистнула. Тут же с неба слетела метла, Прессия ухватилась за нее, села и крикнула:

— Вперед!

Я тронул Пегаса за поводья, мы взмыли в небо и помчались настолько быстро, что ветер засвистел в ушах. Мы так мчались, что я оглянулся с мыслью: а попевает ли за нами Прессия, и Прессия, оказавшаяся в двух шагах позади, крикнула:

— Никогда не оглядывайся. Жена Лотова оглянулась и превратилась в соляной столб. Хоть это и миф, но в нем есть соль.

## ГЛАВА 4

Я сидел за своим облупившимся от старости письменным столом, а Прессия сидела на моем продавленном диване и что-то вязала.

— Райский дворец Абсолюта представлял собой обширное помещение со стеклянными стенами, сквозь которые внизу повсюду были видны кроны цветущих вишен, — прочел я, потом встал из-за стола, подошел к многочисленным книжным полкам и сказал:

— Чтобы ты, дорогая Прессия, не ломала себе голову, вспоминая, что такое Абсолют, загляну-ка я в философский словарь. Где он тут? — Я рылся по книжным полкам. — Да где же он?

— Не парься, — сказала Прессия. — Я знаю, что такое Абсолют. «Абсолют (*лат.*) — понятие идеалистической философии, обозначающее духовное первоначало всего сущего, которое мыслится как нечто единое, всеобщее, безначальное и бесконечное и противопоставляется всякому относительному и обусловленному бытию».

— Удивительно! — найдя словарь и заглянув в него, воскликнул я. — Слово в слово! У тебя такая память!

— У меня совершенная память. Продолжай.

— Недалеко от входа, внутри дворца был хрустальный бассейн с небольшими хрустальными фонтанчиками в форме писающих ангелочков. Вдоль стен стояли белые диваны с белыми столиками напротив.

— Я думаю, что Абсолют был страшным богачом, наверное, даже миллиардером, потому что имелся сверкающий золотом трон, — подсказала Прессия, подошла ко мне сзади, обняла за шею и поцеловала в лысину.

— Наверняка был страшным богачом, — сказал я, — но и ученым тоже, потому что за троном, на некотором возвышении, наблюдались столы с компьютерами и лаборатория с какими-то приборами, с электронным микроскопом, со всякими колбами и колбочками, в которых что-то булькало и дымилось. А сам Абсолют сидел за столиком, с аппетитом ел арбуз и при этом причавкивал так, что впору было подумать: а Абсолют ли это? Не модус ли это? Не отдельное ли проявление целого, а в данном случае — Вселенной? Да. По моему мнению — это модус. Быть может, моя теория покажется тебе, моя дорогая Прессия, искусственной, фантастической, но разве не говорит Гете словами Мефистофеля, что он есть часть той части целого, которая хочет зла, а творит добро? Разве Мефистофель не модус в данном случае? И не целуй меня в ухо. Мне щекотно.

Прессия отстранилась и снова села на диван.

— Но многих, — сказала она, — особенно теологов и теософов, я полагаю, не устроит имя «Модус», да и сам ты разве не чувствуешь в этом имени некоторое умаление и даже уничтожение всемогущего творца, поэтому по-прежнему называй его «господь». Ну давай, что там дальше?

Я снова начал читать.

Это был низенький, лысоватый, полноватый рыжебородый и зеленоглазый мужчина пожилых лет, с веснушками на широком и добром лице. На нем была древнегреческая одежда — гиматий, который представлял собой кусок белой материи, обернутой вокруг тела. На ногах же у него были когда-то белые, но уже несколько облупившиеся и посеревшие от времени сандалии.

— Нет, не нравится мне это, — поморщилась Прессия. — Крайне несовременно и даже убого. Почему господь, миллиардер, а ходит в простыне, как чмо болотное? Почему на нем туфли не от Гуччи, а костюм не от Армани?

— Но, может быть, я не виноват? — сказал я. — Хоть мне, как и всем нам, иногда страстно хочется преуменьшить, преувеличить, приукрасить, или даже попросту наврать с три ко-



роба, я — несчастный невольник правды, и поэтому буду говорить правду, чистую правду и ничего, кроме правды, даже если эта правда тебе не нравится.

— Не выкручивайся, — сказала Прессия. — Врешь ты всё. А впрочем, что это я? Не мое это дело, тебя терзать. Я же не Депрессия, чтоб терзать, а Прессия, чтоб вдохновлять. Я больше не буду тебя перебивать, я буду тебя визуализировать.

— Как это «визуализировать»? — спросил я.

— Очень просто. Что у тебя там по тексту? А ну-ка дай сюда. Так. «Мелодично зазвонил серебряный колокольчик над стеклянной входной дверью...» — прочла она, и тут стены моей лачуги стали колыхаться, размываться, таять, потом окончательно растворились в воздухе, и я, невидимый, очутился во дворце, который только что описывал.

## ГЛАВА 5

Мелодично зазвонил серебряный звоночек над стеклянной входной дверью, за которой стояли двое: лакей — тоже, как и господь, в гиматии, и мужчина в черном костюме, белой рубашке и темной расцветки галстук. Господь отложил ломтик арбуза, вытер салфеткой рот, похрипел, словно прочищая горло, и голосом громким и низким, точно трубным, сказал:

— Войдите.

Первым вошел лакей.

— К вам, господа, новый архистратег межгалактических дел. Ботиночкин Ботинок Ботинович назначил. Просить? — спросил он.

— Проси. Интересно посмотреть, что за фрукта мне назначил Ботиночкин, в девичестве Заратуштра, на должность архистратега межгалактических дел.

— Проходите, — сказал лакей, почтительно склонил голову перед входящим и удалился, закрыв за собой дверь.

Архистратег сделал робкий шагок и застыл с боязливо втянутой в плечи головой.

— Ну что ты там застрял, подойди ближе! — сказал господь.

Архистратег сделал еще несколько робких шажков.

— Имя? — спросил господь.

— Пи, пи, — прошептал архистратег, почему-то дрожа всем телом.

— Что «пи, пи»? Пит? Питер?

— Пи, пи, пить, — наконец выдал архистратег.

Господь прямо из воздуха выловил хрустальный бокал, подошел к фонтану, поднес бокал к струйке, известно, откуда вытекающей, наполнил бокал и подал архистратегу. Архистратег, держа бокал дрожащей рукой и стуча зубами, осушил его, отдал богу, и бокал пропал в его ладони, словно его и не было.

— Имя? — снова спросил господь.

— Г а, га, га... Гай Тит Теренций, — ответил архистратег и, держась за поясницу, согнулся в поклоне, напоминая букву «г».

— Докладывай, Гай Тит Теренций, — сказал господь, берясь за новый ломтик арбуза.

— По, по, по... Понимаете ли... — произнес тот и замолчал.

— Говори же, что ты мнешься и трясешься, ты же архистратег!

— Да, да, да, да... — все еще заикался архистратег.

— Пожалуй, тебе надо выпить концентрированной валерьянки, — сказал господь и снова выловил из воздуха бокал, на этот раз наполненный коричневой жидкостью.

— На вот, выпей валерьянки, — он протянул бокал архистратегу.

Архистратег выпил содержимое и, наконец, заговорил не заикаясь.

— Да уж больно сатана возмущается, что мы захватили Млечный Путь, боязно мне...

— А ты ему объяснял, что Млечный Путь испокон веков был в составе божьих галактик, и что там наши люди и ангелы живут?

— Объяснял, но он все равно возмущается. Говорит, что это незаконно. Говорит, что вы такой же коварный, как и Путин, который захватил Крым. Незаконно это, так говорит.

— Зато справедливо. Крестьянские восстания против феодалов тоже были незаконны, но справедливы. Не всегда закон поспевает за справедливостью.

— А если он начнет наши галактики аннигиляционными бомбами забрасывать?

— Не будь глупцом. У нас свои аннигиляционные бомбы есть, и не меньше, чем у него.

— Побоится что ли?

— Побоится. На это я и рассчитывал.

— Вы такой решительный!

— Обстоятельства обязывают. Так и люди, и ангелы были настроены. В данном случае я флюгер, а не ветер. И все с Млечным Путем. Меня все эти разговоры о Млечном Пути смущают. Вроде бы желанные народу слова говорю: Крым, то есть Млечный Путь — наш! А все равно что-то не так, не так. Что-то все-таки меня смущает.

— Совесть, наверное.

— Совесть у политиков не бывает. Есть государственные интересы. Ну — все. Не буду дальше, а то Путин обидится.

— Бойтесь, что подслушает?

— Боюсь. Он все-таки из КГБ вышел, шутка ли.... Ну, спасибо за доклад. Теперь ты свободен.

Архистратег, кланяясь, начал пятиться к двери.

— Да не кланяйся ты, ради святого духа, — поморщился господь. — Неужели ты не понимаешь, что это нас обоих унижает? Радости, радости в людях хочу, а не унижения. Весело должно быть в церкви, весело! Поклониться можно, иногда даже нужно, но все время кланяться тому, кто не отвечает тебе ответным поклоном, а тем более становиться на колени, — ни в коем случае. Неужели они думают, что совершенному существу может нравиться лесть?

И не стыдно?

— Стыд глаза не выест, — сказал архистратег.

— Стыд глаза не выест, зато лестью можно многого добиться? Я правильно прочитал твои мысли?

Архистратег молчал.

— Повторю, — сказал господь, возвысив голос. — Я правильно понял твои мысли?

— Как ни тяжело признаваться, но вы правильно меня поняли, — выдавил из себя Гай Тит Теренций. — Дело в том, что раньше я служил при дворе императора Нерона. Это там испортился мой характер. Очень боялся я императора. Ведь он не пощадил никого. Ни философа Сенеку, ни поэта Лукана, ни писателя Петрония, ни свою родню, ни даже собственную мать. Но я — а я был тогда послом в Парфянском царстве — выжил и, полагаю, именно потому, что раболепствовал. Таков мой жизненный опыт.

— Разве я похож на Нерона? Разве я злодей?

— На злодея вы не похожи. Но и Нерон не был похож на злодея. Такой шутник с виду был. Развлекать всех любил. Бывало, в

бабу переоденется и давай отплясывать. Животики, бывало, надорвешь. Так что сомневаюсь я в людях, сомневаюсь. Кроме того, я никогда с вами не разговаривал, знаю вас только по библии, а по библии вы, если читать ее с самого начала, злобный, мстительный тиран, безжалостный убийца, исключительно тщеславный и потому лезть просто обожаете.

— Тогда конечно, — согласился господь. — Так написано в библии. Но библия — это не всегда полноценная мудрость, слишком много в библии от мудрости невежд. А если сказать точнее, то, перефразируя мудреца, библия не мудрость веков, а мудрость колыбели. Она не про меня. Она про то, каким невежды меня себе представляют. А представляют меня порой черт знает чем! Сначала, с подачи Моисея, я был таким психопатом, что даже и взглянуть на меня нельзя, сразу испепелю взглядом. Потом, с подачи Христа, или даже раньше, сюсюкать я ни с того ни с сего стал, что всех люблю. А я не всех люблю. В общем, богом я стал для думающего человека абсолютно неадекватным. Да ты присаживайся и бери арбуз, не стесняйся.

Гай Тит Теренций осторожно присел на краешек дивана и взял ломтик.

— Но глупость и невежество, освященные тысячелетиями, таковыми не считаются, — продолжал господь. — Вот и мечутся даже верующие люди, даже некоторые священники, не зная во что верить, в освященное веками невежество, или в здравый смысл. Да, даже верующий человек верить до конца не может, он лишь надеется. Что уж говорить об атеистах. У них даже надежды нет! Но ведь в глубине души и атеисты жаждут бога, потому что жаждут справедливости и бессмертия. Как с ними быть? Им тоже нужен хотя бы лучик света в мрачном царстве неумолимо приближающейся смерти? Как быть? Открыться людям? Не знаю, не знаю... Ведь хоть я и бог, я против религии, потому что религия — это кнут и пряник. Она словно ребенку говорит: получишь пятерку — получишь пряник, а схлопочешь двойку — получишь ремня. Вот почему я за нравственность от души, а не из-под палки или из-за пряника. Я за Попку.

— Простите, я не расслышал. Что-то не совсем понятное мне послышалось...

— Был такой философ в Киевской Руси, Гореслав Попка. Он был против веры как в древнеславянских богов, так и против ве-

ры в библейского бога. Святой князь Владимир после крещения Руси, его, как не желавшего креститься, по доброте своей, на кол посадил. Пущай, говорит, там проповедует свою бескорыстную нравственность.

— И что же он проповедовал? — поинтересовался архистратег.

— Он говорил, например, что нравственность, подчиненная практической целесообразности, то есть получить прижизненные блага или попасть в рай, есть разновидность безнравственности. Распространить бы человеколюбивое учение Попки, провозглашающее, что религиозная святость — не святость! Совесть, вот что такое святость! Развитая совесть! Совесть и честь! Ну, как я вижу, ты расслабился? Похоже, что мой имидж в твоих глазах поменялся? А теперь иди, мне некогда. Меня сейчас больше одна планета интересует, потому что у меня появилась идея. Потому что я загорелся этой идеей.

Архистратег встал и в глубоком поклоне, держась за поясницу, стал задом удаляться, на что господь безнадежно махнул рукой, поднялся по ступенькам на помост с оборудованием и сел за электронный микроскоп.

Снова зазвенел серебряный колокольчик над входной дверью. Господь снова прокашлялся, прочищая горло, и крикнул все тем же трубным басом:

— Войдите!

Открылась дверь, и вошел лакей.

— К вам Заратуштра. Просить?

— Да проси уж! — недовольно произнес господь и снова повернулся к микроскопу.

Заратуштра — высокий брюнет в бежевом костюме и с козлиной бородкой — подошел к помосту и сказал:

— Я по поводу новых пророков.

— Создал новую планету и уже окружил ее атмосферой! — словно не слыша, хвастался господь, глядя в микроскоп.

— Я по поводу новых пророков, — повторил Заратуштра.

— И уже создал первые вирусы и первых насекомых. Хочешь посмотреть? — господь встал из-за микроскопа. — Вот, посмотри.

Заратуштра поднялся на помост и сел за микроскоп.

— Правда, симпатичный? Ну, прям лапочка!

— По мне — вирус как вирус, — сказал Заратуштра и встал.

— Ничего ты не понимаешь! — господь снова сел за микроскоп. — А кто у нас там такой маленький! А кто это у нас такой хорошенький! Утю-тю-тю-тю-тю!

— Вот вы сейчас с безмозглыми вирусами сюсюкаете, а в Украине люди от несправедливости страдают, — заметил Заратуштра.

— Я ему колесики приделал, еще не было ни одного вируса на колесиках, — продолжал господь.

— Колесо, между прочим, придумали люди, а вы воруете! — сказал Заратуштра.

— Не ворую, а заимствую, — возразил господь.

— Вам, подозреваю я, что вирусы, что люди — все одно. Разницы вы не знаете.

— А вот сюда посмотри! — господь так быстро сунул Заратуштре под нос какую-то стеклянную коробочку, что тот отшатнулся. — Посмотри, посмотри!

— Что это? Муха?

— Муха. Правда, красивая? Тоже на колесиках. Кроме того, я сделал ей бархатистую спинку. Прелесть, а не муха!

— С вашими прелестями у нормального, мыслящего человека создается такое впечатление, что вы даете жизнь всему живому, не отдавая никому предпочтения. Ни мухе, ни человеку. С этим трудно согласиться, протестует душа, но это так.

— Ты же знаешь, что это не так. Ты же понимаешь, что у меня сейчас просто творческая горячка. Уйди, не мешай. А что ты кривишься, что тебе не нравится?

— Не нравится ваша муха на колесиках. Колеса у нее кривые какие-то.

— Ничего, в процессе эволюции на новой планете и моего участия в эволюции, все наладится.

— «Ладейников прислушался, над садом...» — начал было Заратуштра, но господь перебил его:

— Какой еще Ладейников? — спросил он.

— Это стихи, характеризующие вас не с лучшей стороны.

— А ну-ка, ну-ка? Мне всегда был интересен бунт...

Ладейников прислушался: над садом  
Шел тихий шорох тысячи смертей.  
Планета, обернувшаяся адом,  
Свою судьбу вершила без затей.

Жук ел траву, жука клевала птица,  
Хорек пил мозг из птичьей головы,  
И страхом перекошенные лица  
Ночных существ смотрели из травы.

— Это ты к чему?

— К тому, что в процессе эволюции наладится взаимопожирание.

— Увы, без взаимопожирания нельзя. Лев не будет есть траву, хоть это и противоречит библии. А что касается человека, то он вполне достаточно отделен от пищевой цепи. А ты говоришь, что мне все равно, что мухи — что люди.

— Это верно, что человек отделен от пищевой цепи, пока не умер. Но поймите, быть отделенным от пищевой цепи для счастья мало. Для счастья, в первую очередь, человеку нужна справедливость. Вы, конечно, бог, и я вас уважаю. Но поймите же и вы, что большинству в Украине, а особенно олигархам, высшим чиновникам и сенаторам, называемым там хитропузыми, чтобы вести себя благородно, нужны религиозные кнуты и пряники. Я понимаю, что религиозная нравственность — это чаще всего разновидность безнравственности, но что поделаешь? Религиозная нравственность все же лучше полной безнравственности, а из двух зол выбирают меньшее. Пусть будет хоть такая. Спуститесь, наконец, на грешную землю. Это хорошему человеку бог не нужен, а подлецу бог нужен. Нужно, чтобы он увидел, что вы есть. Чтобы вы прогремели: «Мне отмщение, и аз воздам!».

— Ты хочешь очередного пророка? Но что нового может сказать пророк? Тебе ли, мудрейший пророк Заратуштра, не знать, что все уже сказано. Это скучно.

— Уверяю вас, это не будет скучно, потому что я кое-что придумал. Мы сделаем бумажные самолетики и пошлем их на землю со словами: на кого святой дух пошлет.

— Ну — не знаю... Святой дух такой неуправляемый... Веет, где хочет...

— В том-то и весь интерес, что он веет, где хочет. Ну что? Может, не будем откладывать? Прямо сейчас сделаем бумажные самолетики. Где у вас бумага?

— Но я не умею делать бумажные самолетики, — сказал господь.

- Я вас научу. Давайте бумагу.
- Журнал «Плейбой» подойдет?
- Вы читаете «Плейбой»?
- Картинки смотрю.
- Подойдет, — сказал Заратуштра.

Господь выловил прямо из воздуха журнал «Плейбой» и отдал Заратуштре.

— Смотрите, — сказал Заратуштра, вырвав из «Плейбоя» два листа.

Господь, поглядывая на него и повторяя его манипуляции с бумагой, спросил:

- Да, все время забываю поинтересоваться, как твоя бессонница?
- Лечусь.
- В сумасшедшем доме?
- Только там ее и лечат.

## ГЛАВА 6

Иван Шевченко лежал в гробу в новом, с иголки, черном костюме, в белой рубашке и яркой розовой бабочке. Ноги были обуты в изящные коричневые туфли, судя по девственному виду подошвы, совершенно новые. В сложенных на груди руках он держал тоненькую церковную свечку. Раздался звонок в дверь. Иван вылез из гроба и пошел открывать. В дверях стоял Лекрыс, небольшого роста худенький белесый мужчина лет тридцати пяти, в некрасивых очках и с лысиной, на которую были зачесаны жиденькие волосы в безнадежной попытке эту лысину скрыть.

— Ты вовремя. Я как раз примеряюсь, привыкаю понемногу, — сказал Иван и снова устроился в той же позе в гробу. — Ну, как? Хорошо выгляжу? — спросил он.

— Гроб хороший, костюм замечательный. Да, хорошо выглядишь, солидно.

— А ну-ка сфоткай меня, — сказал Иван.

Лекрыс достал смартфон, сделал снимок и показал Ивану.

— Нет, так никуда не годится, — говорил Иван, разглядывая себя. — Грустный я какой-то, настроение людям испорчу. Даже розовая бабочка не помогает. Может быть, прицепить клоунский



красный нос? Люди приходят на поминки как на праздник, в глубине души радостные, что это не они в гробу, а я им весь праздник испорчу. Нет, надо все-таки прицепить, чтобы не скучали на поминках.

Иван потянулся к журнальному столику, взял красный клоунский нос, прицепил его на нос и снова устроился в той же позе в гробу.

— Ты все перепутал, — сказал Лекрыс. — Поминки бывают уже после захоронения, без трупа, который всем, ты прав, несколько мешает наслаждаться жизнью, — сказал Лекрыс. — Вот только сомневаюсь я, что для твоих родителей будет праздник: сына похоронить, даже если на сыне будет клоунский нос.

— Ты думаешь, мне их не жаль? — спросил Иван.

— Не жаль, раз ты так...

— У тебя никогда не было такой тоски, ты не поймешь, — сказал Иван, вылезая из гроба.

— Отчего же, бывает тоска. Бывает такая, что хоть в прорубь. Но я, по возможности, сразу иду на площадь Первого Великого Гетмана, сажусь на какую-нибудь скамейку под табличкой «для тоски» и наблюдаю лица людей. И такие хмурые лица попадают, что я, по сравнению с ними, — просто весельчак. Так и лечусь, подлец, чужим горем. И ты будь подлецом, лечись чужим горем. Ведь не ты первый — не ты последний. У меня то же самое. Я даже начинаю подозревать, что брака без классического любовного треугольника не бывает.

— А у меня серьезные подозрения и даже убеждение, что человеку нужен не любовный треугольник и даже не любовный четырехугольник, а пятиугольник, шестиугольник, окружность, наконец. Зачем загонять себя в угол? — говорил Иван, раздеваясь.

— Может быть, пора официально вводить многомужество для женщин и многоженство для мужчин в связи с человеческой природой? — предложил Лекрыс.

— Это не природа, это распущенность, — сказал Иван.

— Природа, природа! — возразил Лекрыс. — А впрочем — нет, скорее природная распущенность.

— Ну и чем поможет введение многоженства и многомужества? Разве люди не перестанут страдать? Чтобы они перестали

страдать, надо запретить любовь. Кто не любит — тот не страдает. Это великая мудрость, мужчине не любить женщину, а женщине не любить мужчину, — говорил Иван, вешая костюм на плечики.

— Как же можно запретить любовь?

— Полицейскими мерами. Вот только какими мерами — я еще не продумал. Во всяком случае, любовные парочки должны быть временны, на срок, скажем, до трех дней. Так они еще не успеют проникнуться чувствами. Если же связь продолжается более трех дней, за это, по закону, следует назначать пусть незначительное, но неумолимое возмездие, небольшой тюремный срок, лет эдак на десять. И, уверяю тебя, много найдется таких, которым такая жизнь без любви, то есть жизнь мудрая и безмятежная, понравится. Найдутся, конечно, и глупцы. Они вначале воспротивятся безмятежной жизни, им, глупцам, любовь подавай, но потом, становясь философами, и они поймут, что любовь — это самый коварный вид зла.

— Нет, насчет полицейских мер — это ты что-то не то придумал, — возразил Лекрыс. — Большинство парочек сами распадаются уже через неделю-другую, а то и раньше.

— Да и ты с многоженством и многомужеством что-то не то придумал.

— Да я просто болтаю. А вот ты говоришь с таким пылом, что можно подумать, что говоришь серьезно.

— Это потому что я злюсь.

— Но ведь есть же мужья и жены, которые по-настоящему любят друг друга, и до гроба. И даже умирают в один день, потому что жить друг без друга не могут.

— Это такая редкость, что можно и не принимать во внимание, — сказал Иван.

Лекрыс взял в руки туфлю и спросил:

— Туфли-то, я надеюсь, картонные, для покойников?

— Ошибаешься, — сказал Иван. — Не самые дорогие, но дорогие.

— Все равно сгорят, глупо это, — сказал Лекрыс, любуясь туфлей.

— Один раз умираем, так стоит ли мелочиться?

— А давай я тебе картонные куплю, а эти заберу себе?

— Они будут тебе велики.

— Ничего, я буду ватку подкладывать, — сказал Лекрыс, продолжая любоваться туфлей.

— Помоги мне лучше гроб на попа поставить. Пока он мне будет служить шкафом.

Иван закрыл крышку гроба, с помощью Лекрыса поставил гроб на попу, после чего повесил снятый костюм на небольшой крючок, прибитый с внутренней стороны к изголовью гроба.

— Ничего, я буду ватку подкладывать. Давай, а? — продолжал просить Лекрыс, любуясь туфлей.

— Ты, Лекрыс, стал мелочным и жадным, — сказал Иван, забирая у Лекрыса туфлю.

— Я экономный, а не жадный, а вот ты — мелочный. Даже твое самоубийство — это мелочная месть Анастасии. Немелочно — простить и забыть. Я так понимаю.

— Простить легко, я всегда прощал, делал вид, что не замечаю измен, потому что она всегда была такой. Я не могу смириться с тем, что она ушла насовсем. Не получается. Твержу себе: она мне не нужна, она приносит только горе, она мне не нужна, она приносит только горе, она мне не нужна, она... — он на мгновение замолчал, потом продолжил: — Наши чувства сильнее нашей рассудительности, сильнее разума, вот в чем дело.

— Да, это верно. Чувства сильнее разума. Чувствам миллионы лет, а разуму только каких-то двести тысяч.

— И не только чувства. Меня к ней так влечет физически, что иногда думается, что лучше бы я родился евнухом, — Иван вынул из мини-бара бутылку коньяка и два стакана.

— С евнухом ты хватил.

— Может быть, — наливая коньяк, согласился Иван. — Достаточно быть мудрецом вроде, ну, например, Пифагора. Ведь я уверен, явись перед ним сама Мэрилин Монро в самом своем соблазнительном облике, — все помнят этот знаменитый кадр, — он бы просто поднял на нее глаза и сказал: «Уйди, женщина, уйди, несчастная. Ты мешаешь мне минимизировать скалярную функцию векторного аргумента». И Монро, пристыженная, отойдет в сторону и больше никогда в жизни не будет со всякими пустяками приставать к серьезным мужчинам. — Иван поднял свой стакан. — Ну что, вздрогнем? — сказал он.

— Не обижайся, но заливают горе вином только слабаки.

— Не суди, — сказал Иван, попытался выпить, но мешал клоунский нос, и он, передвинув его на лоб, выпил коньяк. — Человек не имеет права судить другого, человек имеет право судить только самого себя. Хотя, с другой стороны, — я сужу. Но мне простиительно, потому что моё Я, как это не неприятно для других, — центр Вселенной, и ему все позволено. Моё Я даже выше Вселенной, выше бога, которого, конечно, нет. А иногда мне даже кажется, что все люди, весь мир, вся Вселенная существуют только в моем сознании. Что, если я умру, то со мной умрет и Вселенная.

— Не умирай, Иван. Пожалей Вселенную. Но, если шутки в сторону, то в том, что ты перед лицом смерти сохраняешь полное хладнокровие, есть нечто возвышенное и героическое. С одной стороны, ты слабак, а с другой — храбрец. Я бы так не смог. Мне, хоть я тоже, как и ты, не в восторге от жизни, тоже тоскую, бывает страшно тоскую, но боязно даже заглянуть в эту черную бездну, не то что броситься в нее. Может быть даже, что ты философ-стоик, который, запутавшись в жизни, и не знающий, как справиться с возникшей дисгармонией, кончает с собой, чтобы приблизиться к идеальной гармонии Вселенной. А впрочем, не буду тебе льстить. Ты не Сенека, тебя возвеличивать не будут. Червяком ты родился, червяком и умрешь.

— Почему ты меня оскорбляешь? — вовсе не зло спросил Иван.

— Это не оскорбление, а констатация факта. Я тоже червяк.

И подавляющее большинство людей — червяки. А впрочем, все мы червяки. Но давай не философствовать. Слишком грустна такая философия. Давай о твоей проблеме. Я понимаю, ветреную жену, в отличие от верной жены, трудно разлюбить, а то и невозможно. Но оттого, что она ветрена, она может со временем бросить своего невежду управляющего и вернуться к тебе, потому что от тебя она зла не знала. Такое долго помнится.

— Но она любит роскошь, а у управляющего есть даже автомобиль. Только почему ты решил, что ее управляющий невежда?

— Все простаки — невежды. Это видно по тому, как они развлекаются. Уж очень незатейливо развлекаются: пивнушки, попса, низкопробный юмор вроде «Кривого зеркала». Это у хитропурых художественные выставки, театр, балет, опера и утонченный юмор.

— Ты просто не знаешь, что творится за тонированными стеклами роллс-ройсов и за высокими заборами в особняках и замках хитропупых, потому что на это знание, как и на Интернет, в нашем государстве табу. Просто ты не слушаешь Би-би-си и русское радио. Наши хитропупые — мерзавцы, каких свет не видел. Скажу крамольную вещь: даже если не слушать Би-би-си, наш гетман, если заглянуть в суть, если судить по плодам, не обращающая внимания на обаяние лица и речей, он, клянусь своим велосипедом, — мерзавец, каких свет не видел.

— Если заглянуть в твою суть, не обращая внимания на твое умное лицо, то ты, клянусь своим велосипедом, недоразвит, как и все простаки. Где твой театр? Где твоя опера? Нетути. Они тебе до одного места.

— У меня есть афоризм: оперу любит лишь тот, кто любит скучать, — сказал Иван.

— Ты думаешь, сказать так умно? Нет, это просто уловка, трюкачество. Не хочу тебя обижать, Иван, но ты не писатель, ты — трюкач. Юморист — это не писатель, это трюкач. Да и не способна уже Сельхозугодия родить что-то рангом повыше трюкача. Чего и следовало ожидать, поскольку, правильно говорят хитропупые, что после многовековой утечки мозгов за границу истощился генофонд. Мы теперь, не считая хитропупых, нация идиотов.

— Ты идиот?

— Я — исключение.

— Быть хитропупым по паспорту — это тоже еще не признак интеллекта.

— По крайней мере, все хитропупые получают образование за границей, а заграничное образование — не чета нашим училищам.

— Но ведь и ты окончил профтехсельхозучилище по специальности проктология, а ковыряться в чужой заднице — это тоже не интеллектуальный труд.

— Оскорбляй, оскорбляй, если это доставляет тебе удовольствие, а я вот что скажу: я — не простак, я только по паспорту простак, а на деле — хитропупый, потому что развлечением мне служит высокое искусство, моя скрипка. Кроме того, я не пьянствую.

Я понимаю, ты лечишься от любви. Но, клянусь своим велосипедом, так лечатся только простаци. Кстати, а где ты достал цианистый калий? — Лекрыс взял со столика пузырек с белым порошком.

— Почему «кстати»? Хочешь кого-то отравить?

— Хотелось бы...

— Не могу сказать, боюсь подвести хорошего человека.

— Так ли уж хорош этот человек...

— Скажу по-другому: не хочу подводить человека, который оказал мне услугу.

— Так-то лучше. Потому что добро услуге — рознь. А то получается, что и я хороший человек, а это не так, поскольку, будь я хорошим человеком, я бы тебе не потакал, я бы отказался участвовать в твоём спектакле, потому что со временем всё, абсолютно всё проходит. Я понимаю, это нелегко, но ты борись со своими чувствами. Ведь по большому счету мы не влюбляемся, мы позволяем себе влюбиться, поскольку отключаем свой разум и даем волю воображению, а воображение всегда идеализирует, то есть нагло лжет.

— Ошибаешься, — сказал Иван. — Мы не даем волю воображению, это воображение нас насилует, и мы не можем ему противиться, потому что слишком сладостно для нас непротивление этому злу.

— Может быть и так, — согласился Лекрыс. — Так во сколько зайти?

— После двенадцати. Пятнадцатого числа. Запомни.

— Работы-то — всего ничего. Открыть дверь, удостовериться, что ты труп, а затем вызвать медиков и полицию и сообщить родителям и Анастасии. Ну что ж, прощай, Иван. Давай обниму тебя напоследок. Может, больше не увидимся. В добрый путь тебе, Иван.

А как прибудешь в ад — весточку пришли, как там и что. Не слишком ли горячая смола в котлах, не слишком ли лютует сатана со своими чертями, красивые ли в одном котле с тобой женщины варятся, ну и так далее. Может, и я тоже, если тебе там понравится.

— Что ж, и у тебя есть повод, — сказал Иван.

— А разве для этого нужен повод? Нет, дело не в поводе. Дело, мой Отелло наоборот, в нашем с тобой мироощущении. Паскудном, прямо скажем, мироощущении, — он посмотрел на часы. — Включи радио, сейчас новости культуры.

— Пожалуйста, если тебе нравятся эти побрехеньки.

Зазвучало радио:

Широка Угодия родная,  
Много в ней лесов, полей и рек,  
Я другой такой страны не знаю,  
Где так вольно любит человек.

Всюду жизнь и вольно и широко,  
Точно Волга полная течет.  
Молодым везде у нас дорога,  
Старикам везде у нас почет.

От Днестра до самых до окраин,  
С Желтых Вод до северных морей,  
Человек проходит как хозяин  
Постморальной Родины своей.

Над страной весенний ветер веет,  
С каждым днем все радостнее жить,  
И никто на свете не умеет  
Лучше нас смеяться и любить.

— Гимн, — сказал Иван, когда кончился первый куплет. — Надо встать и вытянуться в струнку. Надо привыкать вставать, когда звучит гимн. Иначе за непочтение к гимну будут штрафовать.

— А гимн изменился. Раньше было «так вольно дышит», а теперь «так вольно любит».

— Это понятно. Новый гетман гомосексуалист.

— Ты откуда знаешь?

— Передавали по Би-би-си. А, кроме того, говорил главный антихолод Московии.

— Здравствуйте, дорогие простачки, милые моему сердцу сельхозугодники и сельхозугодницы! — начал радостно вещать

мужской голос. — С вами снова я, Василий Залэжный, доктор постморальной философии, главный говорител и главный антимоскаль страны, профессор хитропупинского профтехсельхозучилища имени Первого Великого Гетмана. Сегодня мы поговорим об однополой любви. Наконец-то и в Угодии, в нашей недостаточно постморальной среде, простые сельхозугодники начинают проявлять к ней массовый интерес. Появляются клубы, магазины, которыми владеют, конечно, хитропупые постморалисты, но в функционирование которых вносят немалый духовный вклад и такие же, как и вы, простаки-постморалисты. Но пока еще рано говорить об окончательной победе постморализма. В городах у нас еще куда ни шло, но в селах с наличием гомосексуалистов и лесбиянок прям какой-то позор. Нет их почти, перед Европой стыдно. А вот и главный герой сегодняшней передачи, Леонид Бесстыжий. И я хочу задать ему вопрос. Когда вы, душенька, совсем стыд потеряли, как и положено воинствующему постморалисту? Вы позволите вас душенькой называть?

— Конечно, позволю. В нашем сообществе принято называть друг друга душенькой, рыбкой, солнышком. А меня, вы совершенно точно угадали, друзья называют душенькой. А что касается стыда, то стыдиться того, что ты родился гомосексуалистом, это все равно, что стыдиться того, что ты родился негром или евреем. Какой может быть стыд, если не от тебя это зависит.

На этом вещание оборвалось, потому что Иван выключил радио.

— Хочу заметить следующее, — сказал Лекрыс. — Ни интеллекта, ни таланта, ни интеллигентности гомосексуализм не добавляет. Это, как ни крути, а уродство. Можно иметь культяшку, что тут поделаешь, если не повезло в жизни, но размахивать ею и кричать: «Посмотрите, какая у меня красивая культяшка!» — нельзя. Я против такого афиширования.

— И я против, — сказал Иван. — Но этого нельзя говорить в интеллигентной среде. Потому что, если ты против афиширования, то, скажут интеллигенты, у тебя уже и то ни сё, и это уже не совсем так. И не интеллигент ты вообще, а одна только бледная поганая видимость. Нет, в интеллигентной среде порицать гомосексуализм — моветон.



— А может быть, и поделом. Может быть, мы и в самом деле не интеллигенты, а только бледная поганая видимость, — сказал Лекрыс, подошел к двери, но остановился:

— А не присмотреться ли тебе к Надежде, как к противоположностью? Тем более что вы с ней когда-то дружили? — сказал он.

— Мы не совсем дружили...

— Она хорошая, а то, что хроменькая на одну ножку, так это такая мелочь!

— Женщин любят не за то, что они хорошие, а за то, что они хорошенькие. Я не вижу примеров в голливудских фильмах, чтобы симпатичный главный герой нашел счастье с дурнушкой. Голливуду и убить дурнушку не жалко, — сказал Иван.

— Она не дурнушка, она очень обаятельная, а это лучше красоты. Да и не в кино мы.

— И в жизни тоже человек больше любит красоту, чем добро, больше форму, чем содержание. Увы.

— Это спорно. По-моему, зрелый человек больше любит то, что возникает из глубины, из самого что ни на есть нутра личности: ум, непосредственность, обаяние, а не красоту, не чисто внешнее. Бывает, что внешность вроде и обычная, даже некрасивая, но фору даст любой красоте. По-моему, только незрелые люди любят за красоту.

— Я незрелый?

— Да, ты незрелый.

Лекрыс взялся за ручку двери и, помявшись немного, сказал:

— А можно, я скрипку принесу и сыграю тебе реквием? Я недавно разучил. Потом же ты не услышишь?

— Ты со своей скрипочкой не только мне, а всему дому осточертел.

— Никто не жаловался.

— Это потому, что тебя жалеют или проявляют такт, что одно и то же. Хотя ты и говоришь, что ты не простак, ведешь ты себя как последний простак, когда в бомбоубежище пристаешь к людям со своей скрипочкой.

— И хитропупые, бывает, ведут себя как самые настоящие простаки. По-моему, всегда быть на высоте невозможно.

— В этом ты прав, — согласился Иван.

— Ну — пошел я.

— Иди. Нет, погоди. Я насчет Надежды. Я могу тебе показаться подлецом из-за того, что бросил Надежду, когда она покалечилась. Нет, я просто ее разлюбил. А любил бы — любил бы и такой.

Я, знаешь ли, и теперь люблю вспоминать время, когда мы были вместе. Тепло мне становится на душе. Но не надо себя обманывать, — это не любовь. Это — ностальгия.

— Значит, тебе позволено было разлюбить Надю, а твоей жене разлюбить тебя не позволено? Так?

— И мне не позволено было, но чувства сильнее разума...

— Да, чувства сильнее, — Лекрыс взялся за ручку двери и добавил: — Ну что ж, искренне желаю тебе попасть в рай.

— Да, еще, — сказал Иван. — Ты мне напомнил о Надежде. Но ведь она тебе нравится? Так почему ты мне напомнил? Не ревнуешь?

— Она не для меня. Я такой невзрачный, что должен довольствоваться отбросами. По Сеньке шапка...

## ГЛАВА 7

В этот поздний вечер моросил дождь. Иван вывез на рампу пустой контейнер и только пристроился с сигаретой на ящике под табличкой «не курить», как услышал: «друг, друг!» и повернул голову. За сеткой забора, огораживающего хозяйственный двор магазина, стоял мужчина и умоляющими жестами звал к себе. В рассеянном в сумерках свете дежурной лампы все же было видно, как плохо мужчина был одет. Старомодная кожаная куртка, сильно потертая, брюки, порванные на колене и, вдобавок ко всему, совсем неуместная в конце апреля бесформенная шапка-ушанка с болтающимся ухом. Стараясь уберечь от дождя горящую сигарету, Иван с неохотой спустился с рампы и по пути вдруг почувствовал, как что-то мягко ткнулось ему в затылок. Он обернулся и понял, что это был бумажный самолетик, теперь так сиротливо и тускло сереющий на мокром асфальте.

— Выручи, друг! — обдавая Ивана перегаром, сказал пьяница хрипло и трясущейся рукой протянул поверх сетки что-то в полиэтиленовом пакете.

— Это пистолет, — прошептал он, оглядываясь по сторонам, — вернее, револьвер.

— Револьвер? — переспросил Иван. — А зачем он мне?

— Дешево, очень дешево! Всего на пару бутылок!

Иван колебался.

— Вроде бы незачем...

— Может, разбогатеешь, начнешь антикварное оружие коллекционировать. Он антикварный, 2916 года выпуска. Ты не смотри, что маленький, дамский. Все равно можно застрелиться. Это я так шучу. Шутки у меня теперь такие.

Иван бросил в урну сигарету и вытащил револьвер из пакета.

— Он в рабочем состоянии? — спросил он.

— В рабочем, в рабочем, — заверил пьяница. — Он и заряжен, видишь? И вообще, застрелиться — это не повеситься и не отравиться, это по-мужски. Это я снова шучу. Шутки у меня теперь такие.

— Да, — сказал Иван. — Ты прав. Застрелиться — это по-мужски.

Несколько секунд Иван крутил револьвер в руках, затем спросил:

— На пару бутылок?

— Ну, может, на три.

— На три не могу, я не миллионер.

— Ваня! Еще один контейнер забери! — крикнула продавщица с рампы.

Иван протянул деньги и забрал пакет с револьвером.

По пути домой в троллейбусе напротив него сел хитропупый. Об этом свидетельствовал значок на груди с буквами «ХП». Это был высокий брюнет лет сорока пяти, средиземноморского типа, в темных очках и с козлиной бородкой. На нем был бежевый костюм и желтые туфли. Стерильно чистые, несмотря на дождь.

«Похож на сутенера, — подумал Иван, поворачиваясь к окну. — Эти идиотские перстни на пальцах. И — странно: хитропупые обычно не опускаются до езды в троллейбусах...»

Неожиданно брюнет с бородкой наклонился к Ивану поближе и произнес басом:

— Внешний вид человека не имеет с его внутренним миром глубинного сходства, если вы имеете дело с актером. А я — актер.

Иван молчал.

— Какая глупость думать, что револьверы продаются для того, чтобы стреляться, — продолжал хитропупый. — Это все равно, что думать, будто молотки продаются для того, чтобы бить себя по пальцам.

— Вы подсмотрели? — невольно спросил Иван.

— Боже упаси! Просто я читаю мысли. Скажем, экстрасенс. Ботиночкин Ботинок Ботинович мое имя. В девичестве Заратуштра. Вот, прочтите вырезку из энциклопедии, если вы не в курсе. Там обо мне.

Он вынул из кармана косо вырезанный из книги листочек бумаги, развернул его, протянул Ивану, и тот прочел следующее:

«Заратуштра (*иранское, греческая передача имени Заратуштра — Зороастр*), пророк и реформатор древнеиранской религии, получившей название зороастризма. В современной науке считается установленным, что Заратуштра — реальное историческое лицо, которому принадлежит составление Гат — древнейшей части «Авесты»... В «Младшей Авесте» Заратуштра — уже мифическое лицо, полубог».

— Прочли? — спросил Заратуштра. — Давайте теперь сюда, а то руками-крюками своими грязными залапаете, а это документ, между прочим. Шучу. В настоящее время я адвокат отца нашего небесного. Не шучу. Только что из Монте-Карло. Не правда ли, странная это штука, жизнь человеческая! Один никогда не был и никогда не будет в Монте-Карло, а другой только что из Монте-Карло! Ну прям только что! Удивительно!

— Играли в рулетку? — спросил Иван.

— Боже упаси от такого греха! Я там тумбочкой стоял. Тумбочка из меня хорошая получается. Стоит себе, деревянная. Правда, иногда бывает, подумают: «А что это у нас за тумбочка стоит? Уж не чужая ли это тумбочка? Уж не нужна ли она кому-нибудь еще?» А потом еще раз подумают-подумают, да и скажут: «А пусть себе у нас стоит. Хорошая у нас тумбочка, деревянная!».

— Смешно, — сказал Иван.

— Я, конечно, шучу, — уже грустно произнес Заратуштра. — Но почему я шучу? Потому, что тосклива жизнь человеческая, даже если ты только что из Монте-Карло. Я смеюсь, если хотите, над тоской.

— А кроме шуток, зачем богу адвокат? — спросил Иван.

— Не спрашивайте, лучше внимательно перечитайте библию. Может быть, поймете, что богу таки нужен адвокат. Например, когда Моисей, оправдывая свою жестокость, ссылается на бога, не верьте, это его собственная жестокость. Жестокость кротчайшего тирана. Да, тираны бывают и кроткими. Сталин тоже был чрезвычайно кроток. Не кроткий покричит-покричит да и перестанет.

А кроткий кротко слушает, кротко молчит, кротко набивает трубку и кротко говорит: «расстрелять». А если вы заглянете в библию, во вторую книгу Моисееву, в главу 31, стихи 27 и 28, то прочтете такие слова: «Так говорит Господь. Возложите каждый свой меч на бедро свое, пройдите по стану от ворот до ворот и обратно, и убивайте каждого брата своего, каждого друга своего, каждого ближнего своего. И сделали сыны Левины по слову Моисея; и пало в тот день из народа около трех тысяч человек». Или вот еще: «Итак, убейте всех детей мужского пола, и всех женщин, познавших мужа на мужеском ложе, убейте». И, по Моисею, этого якобы хотел господь. А вы говорите, что богу не нужен адвокат.

— Я не верю в сверхъестественное, уважаемый хитропупый. А теперь простите, но мне пора выходить.

Иван встал.

— Конечно, конечно! — Заратуштра с готовностью выставил в проход ноги в брюках, отутюженных настолько, что, вероятно, он не только носил их, но и чинил карандаши или даже брился. — Только разрешите еще один вопрос? Если вам выпадет джек-пот, то как вы получите выигрыш, если будете лежать замороженным в металлическом ящике?

— Если я буду лежать замороженным, то мне будет абсолютно все равно, уважаемый адвокат.

— Люди, посмотрите на него! — завопил Заратуштра на весь троллейбус. — Он не верит в бессмертие души!

Троллейбус безмолвствовал. Люди, похоже, тоже не слишком верили в бессмертие души.

— И правильно делаете, что не верите, — продолжал Заратуштра. — Если бы человек наверняка знал, что душа бессмертна, у нас, несмотря на присущую страстную тягу к творчеству и познанию, все равно было бы куда меньше Шекспиров или Эйнштейнов. Смерть тонизирует жизнь. Для иного мысль о смерти —

это что-то вроде чашки горячего крепкого кофе натошак. Отсюда вывод: если бы смерти не существовало, то ее следовало бы непременно...

Иван не услышал конца фразы, как раз открылись двери, и он поспешил выйти.

## ГЛАВА 8

Разрисованное баллончиками здание дома и пустые черные окна квартиры на предпоследнем этаже показались Ивану такими неуютными, что он, ощущая в себе что-то не менее мучительное, чем физическая боль, не боясь замочить джинсы, опустился на скамейку.

Двор был пуст, только чуть дальше, ближе к соседнему подъезду, мужчины в беседке играли в домино.

На третьем этаже открылось окно, и раздался женский крик:

— Ваня, йды вжэ йисты, картопля стынэ!

— Да зараз я, зараз!

— Не меня зовут, не меня... — сказал Иван.

Через некоторое время снова раздался крик:

— Ваня, так ты йдешь чи ни?

— Вот змея, не дает игру закончить! — с досадой сказал Ваня.

Подошла какая-то кошка и просительно замыкала.

— Тебе со мной плохо будет, потому что меня не будет, — сказал Иван. — А не будет потому, что я не мудрец, я не умею ощущать радость от одиночества, от одиночества я ощущаю боль.

— Картопля стынэ, Ваня! — снова раздалось из окна.

— А у нас? — снова обратился Иван к кошке. — У нас картошка стынет? У нас не стынет. Никто нас с тобой не ждет. Ну, пойдём, накормлю, иди сюда, — он взял кошку на руки.

## ГЛАВА 9

В баре было людно, но табуреты у стойки пустовали.

— Привет, Людок, — сказал Иван симпатичной полной барменше, сел на табурет у стойки, уложил на коленях кошку и протянул деньги. — Мне пива, а ей какую-нибудь котлету. Смотри не перепутай.

— Я вижу, ты шутить начал. Что, полегчало? — спросила Люда, наливая пиво.

— Нет, не полегчало. Но, когда шутишь, все же легче.

Люда, поглядывая на кошку, сказала:

— Облезлая она у тебя какая-то. Такая же, как и ты в последнее время.

— Спасибо, — сказал Иван. — Большое спасибо.

— Ну, не то чтобы облезлый, но выглядишь неважно.

— Понимаю, — сказал Иван. — Ни свежей розовости, ни розовой свежести. Ни буйной краснощекости, ни краснощекой буйности. «Решимости природный цвет хиреет под налетом мысли бледным». А все равно ты добрая, другая бы была против кошки. Поперла бы.

— Я тоже против, — положив на блюдце сдачу, сказала Люда. — Просто жалко. Видно кто-то недавно выбросил на улицу, раз она ручная.

— Люди и не на такое способны, — сказал Иван.

— Что ты не берешь свое пиво? — Люда пододвинула бокал.

— А котлету?

— Не буду тебя обдирать на котлету. Тем более что котлеты у нас в одной упаковке с гарниром и салатом. У нас часто не доедают. Найдем что-нибудь.

Мимо стойки по направлению к дверному проему, за которым помещалась подсобка, с подносом, уставленным пустыми бокалами, стопками и пластиковыми коробочками из-под еды, двинулась официантка.

— Герда, подожди. У тебя, я смотрю, там приличный кусок котлеты. Давай-ка ее сюда. Нет, не мне, ему.

Герда протянула Ивану коробку и пошла в подсобку, а кошка жадно накинулась на котлету. Люда некоторое время жалостливо смотрела на пьющего пиво Ивана, потом сказала:

— Вот что я тебе посоветую в связи с твоей шекспировской страстью: ты смотри на женщин и старайся увидеть одинаковость с твоей Анастасией. Это — лекарство от несчастной любви. Это как подобное лечат подобным, как гомеопатия.

— Не жалей меня, я уж как-нибудь сам.

— Совет никогда не помешает. Хотя, конечно, я понимаю, давать советы легко. Но ты все же смотри на женщин. Вот по-

смотри хотя бы на нашу новую официантку Герду. Штерн ее девичья фамилия. По-немецки «штерн» — это звезда. Да она и есть звезда. Такая красавица, что хоть сейчас на обложку глянцевого журнала. Вот только что не красится и потому только бледнее, чем, например, твоя бывшая выглядит. У нее даже косметички нет. Принципы у нее какие-то странные.

— Женщина, которая не красится, — животное. В ней недостаточно лжи, чтобы назвать ее человеком. Есть у меня такой афоризм, — сказал Иван.

— Герда! Герда! — позвала Люда. — Он только что назвал тебя животным! Ну, подойди же!

Герда вышла из подсобки. Это была среднего роста синеглазая девушка с бледным лицом и с черными вьющимися волосами до плеч.

— Повернитесь ко мне лицом, — сказала она.

Иван повернулся и через мгновение ощутил на своем лице хлесткую пощечину.

— Что ты делаешь! — закричала Люда. — Он же совсем не в том смысле сказал! Ваня, скажи, как ты сказал!

— Женщина, которая не красится — животное. В ней недостаточно лжи, чтобы назвать ее человеком, — повторил Иван, держась за горящую щеку.

— Ох, извините меня, пожалуйста! Это ты, Люда, ввела меня в заблуждение!

— Да я чтобы тебя заинтриговать, а потом бы объяснила! Кто ж знал, что ты так сразу круто!

— Только это не ваше, я уже это читала. Это афоризмы Ивана Шевченко.

— Так он и есть Иван Шевченко. Я о нем тебе рассказывала.

— Правда? Очень приятно, мне нравятся ваши афоризмы. И ваши юмористические рассказы мне тоже нравятся.

— Спасибо. Нужно иметь терпение, чтобы читать мои афоризмы.

— Не будьте так строги к себе. Чтение любых афоризмов утомляет и требует терпения.

— Эй, девушка! — закричали из зала.

— Ну, я пойду? — сказала Герда.



— Да погоди ты, ты познакомься поближе. Тем более что ты разведенная, он — тоже. Обменяйтесь, по крайней мере, телефонами. А вдруг?

Иван достал телефон.

— Говорите, — сказал он.

Герда назвала свой номер, добавила: «Я думаю, одного моего телефона достаточно», и снова направилась в зал.

— Пива, — сказал клиент.

— Ну, как она тебе? — спросила Люда, наливая пиво.

— А тебе не кажется, что для меня она слишком молоденькая? — спросил Иван.

— Ей двадцать пять, тебе тридцать три. Восемь лет — не такая уж большая разница.

— И давно она развелась? Я потому спрашиваю, что если недавно, то, бывает, что то сходятся, то расходятся.

— Не знаю, как давно развелась, но она вышла замуж в семнадцать, а в таком возрасте все мы делаем глупости. Хотя, конечно, и сейчас в ней есть что-то подростковое. Стишки, например, пишет.

— А может, это не подростковое? Может быть, это талант?

— Может быть и так, — согласилась Люда.

— Ей, наверное, трудно живется. Трудно быть человеком не от мира сего. Стихи — это не от мира сего, — сказал Иван и снова увидел подошедшую Герду.

— Бутылку армянского коньяка и пиццу, — сказала она, бросив взгляд на Ивана.

— А ты от мира сего? — спросила Люда, когда Герда вновь удалилась с заказом.

— Я пишу прозу, на ней хоть что-то можно заработать. Особенно, если она смешная.

— Нет. Она, судя по всему, все же от мира сего. Ну а если бы даже не от мира сего? Ведь любят женщину и женятся на ней не потому, что она много зарабатывает. Кроме того, Герда эрудит. Вчера где-то вычитала, что Чехов, этот по всеобщим представлениям чуть ли не монах, не женился только потому, что всю жизнь пользовался услугами проституток. Как тебе это?

— То, что она рассказала это тебе, ее определенным образом характеризует. Как она это сообщила? Восторженно?

— А это имеет значение?

— Имеет. Если человек говорит о ком-нибудь великом или знаменитом, что он такой же мерзавец, как и все, — это одно. Но говорить, что он такой же человек, как и все, — это совсем другое.

— Нет, не восторженно. Она сообщила это, а потом сказала: не сотвори себе святого.

— А ты не боишься за нее? Вдруг двинет кому-нибудь, как мне двинула. Ведь в барах собираются не слишком интеллигентные люди.

— Уже было! — усмехнулась Люда. — Плохо было тому, кто поднял на нее руку. Она занималась восточными единоборствами.

— Не потому ли она руки распускает?

— Не потому. Мерзавцев надо учить, — сказала вновь подошедшая Герда.

— По виду вы не японка, а по сути японка. И стихи тебе, и каратэ, — сказал Иван.

— Я еврейка, — сказала Герда и обратилась к Люде: — два пива и пиццу.

— Ее отец был премьер-министром, — проинформировала Люда Ивана, когда Герда вновь удалилась. — В прессе это не освещалось, но его выперли из касты хитропупых с поражением в правах.

— Дмитрий Иванович Штерн. Я помню. Слышал кое-что по Би-би-си. Еще слышал от главного антихoxла России. Да и слухов много ходило.

— Да, слухов, — сказала Люда. — Мы — страна слухов. Мы, Московия и Северная Корея.

— Тише говори, — сказал Иван и обернулся.

— Ходят слухи, что уже можно роптать.

— На всякий случай, при посторонних, лучше не роптать.

Оба на некоторое время замолчали, пока Люда обслуживала очередного клиента. Потом Иван сказал:

— Ты права. Пусть даже не от мира сего. И Пастернак, и Бродский, и Цветаева, и Ахматова тоже были не от мира сего.

— Ну, Нобелевская премия ей, я думаю, не светит.

— Нобелевская премия — это не главное. Даренье, вот что в стихах главное. Хотя, если хочешь, то даренье вообще — это особый род эгоизма. Человек дарит потому, что ему самому становится от этого хорошо. Он этим как бы растворяется в других людях.

И люди, не обладающие такого рода эгоизмом растворения и дарения, — несчастны. Вот, послушай:

Жизнь ведь тоже только миг,  
Только растворенье  
Нас самих во всех других  
Как бы им в даренье.

— Бутылку виски, кока-колы и пиццу, — сказала подошедшая Герда, потом, посмотрев на Ивана, добавила: — Я тоже очень люблю Пастернака, — и удалилась с заказом.

— Стихи хорошие, — сказала Люда.

— Мало сказать, что хорошие. После таких слов лучшие в мире бриллианты потускнеют.

— Не потускнеют. Стихи хорошие, но бриллианты от них не потускнеют. Именно ты, а не она, не от мира сего.

— Ошибаешься, я практический человек. У меня все от ума. Если хочешь — от извращенного и поверхностного ума. Сказать: «в молодости нужно делать гадости, иначе в старости не будет чем каяться», — невелика заслуга. Правильно говорит Лекрыс, это уловка, трюк, или, может быть, ребячество. Я словно кричу: «мама, папа»! Посмотрите на меня, я научился стоять на голове!

— Зато это парадоксально, — сказала Люда.

— Может быть, — согласился Иван. — Вот только парадокс — не друг гения. Ошибался Пушкин. Настоящий гений — в последовательности и строгости мышления. Чтобы мысль следовала за мыслью, а не обрывалась пусть веселенькой, в цветочках, но пропастью-парадоксе, через черточку. Гений — это Шевченко, Толстой, Достоевский, Гросман. Может присутствовать некоторая доля остроумия, но только некоторая доля.

— А, по-моему, ты не прав. Бывают и гениальные парадоксы. «Твои взгляды мне ненавистны, но я всю жизнь буду бороться за твое право их отстаивать». Разве это не гениально? Вот только не помню, кто это сказал.

— Вольтер. Да, вот тут-то ты меня и поймала. О чем это говорит? О моей глупости. И таких глупостей во мне хватает. Поэтому я иногда думаю, что я не писатель. Ненастоящий писатель. Такому Нобелевскую премию не дадут. — Иван замолчал, прихлебывая пиво, потом продолжил: — А ты знаешь, что Пастернак

покаялся за то, что ему присудили Нобелевскую премию? Представь себе гиганта, стоящего на коленях перед карликами. Печальное зрелище. И позорное для гиганта..

— Бокал пива, — сказал очередной клиент, протягивая Люде деньги.

— Гигант-то он гигант, но и гиганты не без трусости, — заметила Люда, наливая пиво. — Даже лев, на что уж царь зверей, а чего-то может бояться.

— Хвала времени! — сказал Иван. — Оно все расставляет по своим местам. Где они теперь эти карлики-правители? И где со временем, в конце концов, будут нынешние правители? Какого мнения будут о них потомки?

— В жопе, куда им и дорога, — сказал подвыпивший клиент.

— Что? — спросил Иван.

— Я сказал, что нынешние правители тоже будут в жопе, куда им и дорога, — повторил мужчина и прихлебнул пива.

— И вы не боитесь так говорить о хитропурых? — спросил Иван.

— Я слышал, что уже позволено роптать.

— Это уже не ропот. Это бунт.

— И все же ты не прав насчет патриотизма, — сказала Люда.

— Может быть. Может, патриотизм и нужен, но только в меру. То есть поболеть за команду своей страны, но не более того. Для чуткого сердца что-то есть в патриотизме нехорошее, очень нехорошее.

— Просто ты никогда не жил за границей, а вот пожил бы, то наверняка затосковал по родине. Вспомни, как у Шевченко:

На чужбине не те люди,  
Тяжко с ними жить!  
Не с кем ни поплакать,  
Ни поговорить.

— Что касается людей, то я предпочитаю им книги, — сказал в ответ Иван. — И с ними тоже можно и прекрасно поговорить, и горько поплакать. А что касается тоски по родине, то:

Тоска по родине! Давно  
Разоблаченная морока!  
Мне совершенно все равно —  
Где совершенно одиноко.

Вот такой я подлец...

— Это твои стихи?

— Нет, это Марины Цветаевой. Только я немного изменил.

— Вот мы и опять встретились! — раздалось рядом с Иваном, и все тот же Ботиночкин, в девичестве Заратуштра, сел на соседний табурет. — Я насчет договора. Я спонсировать вас хочу. Дело в том, что в вас попал самолетик.

— В чем спонсировать? Какой самолетик?

— Вы же писатель, так я по поводу вашей писанины.

— Я не писатель, я грузчик. Сами видите: руки-крюки, морда ящичком.

— И все же я по поводу писанины, уважаемый грузчик, де-фис, — писатель. Больше вы все-таки писатель, чем грузчик. Грузчик — это особый талант. Грузчиком надо родиться, это писателем можно стать. Я дам вам сто тысяч евро, чтобы вы писали. Деньги я дам затем, что трудновато и писать и грузить одновременно. Теперь, слава богу, уже не карают за тунеядство, поэтому увольтесь, и до срока, который определит святой дух, до вашего великого подвига, который вы совершите во имя украинского народа, только пишите, чтобы не тянуло в петлю. Нужно писать не только по вечерам или в выходные, я, в бытность Заратуштрой, сам был писателем, и знаю, что писательство, как и любое другое ремесло, требует полной отдачи.

Заратуштра вынул из кармана распухший органайзер, потом из него вынул толстую пачку евро в банковской упаковке и протянул Ивану.

— Вот аванс, а вот... — он извлек из органайзера сложенный лист бумаги и развернул его, — расписка в получении 100 тысяч евро. Распишитесь, — он протянул изящную черную авторучку с золотым пером.

— Я не возьму эти деньги, — сказал Иван. — Я уже говорил, до настоящего писателя я не дотягиваю.

— Да, «Мелко мерим мы наш дух, боясь великих дел!» — тяжело вздохнул Заратуштра. — Но вы все же подумайте, подумайте...

Люда, поглядывая то на Заратуштру, то на Ивана, сказала:

— Господин хитропупый, а вы не против будете, если я со своим другом немного пошепчусь?

— Отчего же не пошептаться, пошепчитесь, пошепчитесь. Это не грех, — охотно согласился тот.

Люда вышла из-за стойки, схватила Ивана за рукав и потащила в подсобку.

— Ты идиот! — зашипела она там. — Ты не знаешь самую главную мудрость. Бьют — беги, а дают — бери! Потом разберешься что к чему!

— А тебя не смущает моральная сторона вопроса?

— А какая тут моральная сторона?

— Воспользоваться чьим-то помешательством. Ведь что он несет? Какой-то самолетик. Да, был самолетик, но причем тут самолетик? Ведь это же черт знает что! А сто тысяч евро? Это же сумасшедшие деньги, а он их швыряет на ветер!

— Штерн, будучи премьер-министром, пожертвовал кучу денег на строительство больницы для простакон. Так он что, потвоему, помешался? Все, не глупи, пошли.

— А кошку я заберу с собой в сумасшедший дом. Там, в семнадцатом отделении, в котором я лежу, в бойлерной, для них есть теплый приют. У меня сердце кровью обливается, когда я вижу бездомных домашних животных, — сказал Заратуштра, когда они вернулись, взял у Ивана кошку, уложил на коленях и положил на стойку пачку евро. — Быстро спрячьте, или не берете?

— Возьмет, возьмет! Он возьмет! — поспешила сказать Люда, пряча пачку.

— И все же мне не совсем понятно... — раздумывал Иван, расписываясь.

— Вы тугодум, — сказал Заратуштра, забирая договор. — Сколько можно повторять, что я оказываю вам эту услугу и как спонсор, а вернее, меценат, и как писатель писателю. Да, да. «Мы родились, мой брат названный, под одинаковой звездой».

— А где мне вас искать, когда я напишу роман? — спросил Иван.

— Пусть это вас не беспокоит, — сказал Заратуштра. — Для меня главное — не роман. Для меня главное — чтоб вы не думали о самоубийстве. А револьвер я у вас заберу. Поскольку это в театре, если в первом акте на сцене висит ружье, то во втором, или третьем, или последнем оно должно выстрелить. В жизни оно запросто может выстрелить совершенно не вовремя, уже в первом акте.

— Извините, но револьвер я вам не отдам, — сказал Иван. — У меня сто тысяч, а район у нас беспокойный.

— Вы трус?

— Я трус.

— Хорошо, я так и передам ему, что мы, оказывается, имеем дело с таким храбрецом, что ему даже хватает смелости назвать себя трусом.

— Так и передайте.

Заратуштра посмотрел на часы.

— Ну что ж... Как ни приятно с вами беседовать, но мне пора в сумасшедший дом. И помните: «Нас мало избранных, счастливых праздных», которые могут целиком посвятить себя творчеству. Что нужно писателю? Время, деньги и, как вы думаете, еще что?

— Ум? — спросил Иван. — Талант?

— Крепкая задница. У вас она есть. Дерзайте. Вам не хватает только дерзости. Ну что ж, — Заратуштра встал. — Прощайте. Хотя нет, нет. Не прощаюсь. Не прощаюсь. Я говорю вам «до свиданья». Расставанье не для нас.

И Заратуштра вышел из бара.

— Посмотри, настоящие? — спросил Иван.

Люда поддела ногтем упаковку, вытащила купюру и проверила прибором.

— Настоящее не бывает, — сказала она.

— Возьми себе сколько надо. Ты меня столько раз пивом и коньяком бесплатно поила.

— Сколько надо, сколько надо... — пробурчала Люда. — Как был ты в школе непрактичным, так непрактичным и остался. Нет, Иван. Это твои деньги. И потом, я не считаю, что поступала правильно, поя тебя пивом. Мне просто было жаль тебя, как жаль было эту несчастную кошку.

— Ну, хоть немного возьми, — сказал Иван.

— Сколько?

— Тысячу.

Люда тяжело вздохнула.

— Ладно, возьму, — сказала она, взяла одну купюру и протянула пачку Ивану.

— На, спрячь. Да побыстрее!

Иван спрятал деньги в карман и сказал:

— Пожалуй, я возьму бутылку коньяка.

— Дерьма тебе на палочке, а не коньяка! Сейчас, когда у тебя все налаживается, пить?! Одумайся! Лучше проводи Герду! — и Люда закричала в зал: — Закругляемся, закругляемся!

Иван посмотрел на Герду, ловкими движениями протирающую столешницу, подошел к одному из опустевших столов, где лежал поднос, и стал ставить на него бокалы.

— Закругляемся, закругляемся! — снова прокричала Люда.

К столику, с которого убирал бокалы Иван, подошла Герда.

— Я бы и сама... — сказала она и, смущенно улыбаясь, посмотрела на Ивана большими синими глазами под длинными черными ресницами.

— Я хочу вас проводить, — сказал Иван. — Вы не против?

— Не против.

— Я и пол помогу помыть.

— А вы не аристократ. Принимайте это как комплимент. Только мыть пол не надо, я сама помою моющим пылесосом. Лучше поставьте стулья на столы сиденьем вниз.

— Я знаю как.

К концу уборки почти все посетители вышли из бара, остались только двое парней.

— Два часа! Два часа! Закрываемся, закрываемся! — снова прокричала Люда. — Эй, парни, освободите зал!

Парни пошли к выходу, и один из них, повыше ростом, в дверях оглянулся на Ивана.

— Не привлекай внимания, Сундук, — тихо сказал его невысокий спутник с узкими, как у азиата, глазами. — Он будет ее провожать. А где она живет, я, бля, знаю.

## ГЛАВА 10

Дверь больничной палаты отворилась, вошли двое: худощавый рыжий санитар и белобрысый, полный и какой-то рыхлый парень, одетый в дешевый спортивный костюм. На вид парню было лет двадцать, и выглядел он глуповато и несколько пришибленно. В руке у санитаря, на тыльной стороне ладони которого красовалась татуировка с изображением восходящего солнца, было постельное белье.



— Вот твоя кровать, — сказал санитар. — Вот тебе белье, постелешь. А ты, Ван Гог, встань с чужой кровати, ложись на свою.

— Я не Ван Гог! — пылко вскрикнул худощавый блондин с длинными волосами. — Я — Малевич! Ван Гог был постимпрессионистом, а я супрематист, попрошу не путать!

— Не пойму я тебя, — сказал санитар. — То ты Максименко, то ты Малевич. Как они в тебе оба уживаются? Ведь по паспорту ты Максименко? Или в паспорте ошибка?

— Вы не поймете, это трансцендентно, то есть не доступно теоретическому познанию! Это нужно постигать духом! — сказал Максименко, ложась на свою кровать.

— А кто нарисовал «Черный квадрат», Максименко или Малевич?

— Написал, а не нарисовал. Попрошу не путать. «Черный квадрат» написал Максименко-Малевич. И еще я написал «Женщина в черном квадрате», «Женщина в синем квадрате», «Черный треугольник» и «Желтый круг». И не только, я много чего написал.

— Видел я ваши картины, товарищ Малевич, — заговорил сутулый, седой и носатый пожилой мужчина с пионерским галстуком на худой жилистой шее. — Это называется мелкобуржуазным индивидуализмом. Зачем он вам, товарищ Малевич? Вы играете на руку капиталистическим акулам. Ведите народ к свету, к коммунизму. Ведите нас в СССР. В ваших картинах люди летают. А ведь люди не летают. Это ракеты летают, самолеты, паровозы. Зачем вы вводите пролетариев в мелкобуржуазное заблуждение? Вам надо это решительно преодолеть! Люди должны летать, но на ракетах, на паровозах, или в кабине истребителя, защищая пролетариев от империалистической агрессии, или на орбитальной станции, следя в телескоп за коварными планами империалистов. Вот как они должны летать, а не вручную, да еще в таких позах. И еще, вы словно говорите: «Посмотрите на меня, у меня люди летают! Вот я какой необыкновенный!». К чему это мелкобуржуазное хвастовство, товарищ Малевич? Вам надо это решительно преодолеть!

— Вы, уважаемый Давид Давидыч, ошибаетесь, — сказал средиземноморского типа мужчина с бородкой, как у Мефисто-

феля, отрывая глаза от газеты под названием «Вопросы религиозной философии» с передовицей, озаглавленной «Есть ли Бог?» — У Малевича люди не летают. Это у Шагала летают. Но, тем не менее, будет правильно сказать, что «Черный квадрат» — это отрицание искусства, что «Черный квадрат» для искусства — все равно, что для мира ядерная война.

— Не знаю, не знаю, Заратуштра... — сказал низкорослый горбатый молодой мужчина с ассиметричным прыщавым лицом. — Может быть, этот «Черный квадрат» вовсе не ядерная война, а голимая пустота пустот, ничегошеньки не выражающая. Просто нет того ребенка, который, глядя на эту черную пустыню, крикнул бы: «А король-то голый!».

— Заратуштра с Озабоченным как всегда говорят умные вещи! — заметил санитар. — А ну-ка скажи еще что-нибудь умное, Заратуштра.

— Анекдот сочинил, — сказал Заратуштра. — «Мать Иисуса Христа на приеме у психиатра:

— Мой сын ходит по воде.

— С ума сойти!

— Может накормить пятью хлебами тысячу человек.

— С ума сойти!

— Воскрешает мертвых.

— С ума сойти!

— А еще превращает воду в вино и поит им окрестных алкоголиков.

— Это, безусловно, ненормально. Будем лечить».

— Я что-то не понял юмора... — сказал санитар.

— Это я, Женя, к тому, что иногда с водой можно выплеснуть и ребенка, — пояснил Заратуштра.

— А-а-а...

— А телевизор? — растерянно спросил новоприбывший, опускаясь на покрывало. — Мама сказала, что в сумасшедшем доме есть телевизор, а оказывается, что нет.

— Как тебя зовут? Петя? — спросил санитар.

— Петя Нирыба.

— Так вот не расстраивайся, ни рыба ни мясо. Тебе и без телевизора здесь будет так же весело, как мне было бы смешно в голландской тюрьме, — усмехнулся санитар Женя.

— Не слушай его, Петя. Здесь не сахар, — сказал статный молодой шатен с бледным и по-девичьи красивым лицом. — Здесь есть такие уколы и таблетки, после которых работа на лесоповале тебе покажется цветочками. Ты думаешь, почему среди психических больных так много самоубийств? Из-за галлюцинаций? Не только. Часто из-за некоторых препаратов. Они — мучительны. Они для души — пытка. Для психиатров не существует ни заповеди «не навреди», ни заповеди «не убий». И физическое насилие здесь насилием не считается. Оно здесь узаконено.

— Истину ты говоришь, Философ! — сказал Озабоченный.

— Ну, не надо всех врачей под одну гребенку, — возразил санитар Женья. — Маргарита Васильевна, конечно, стерва, каких свет не видел, а Сергей Викторович — нормальный мужик. Ладно, пошел я. А ты осваивайся, Петя. Только встань с покрывала, на покрывале сидеть нельзя, его стирать трудно. Сначала свое белье постели.

— Ну что, Петя, давай знакомиться? — предложил все тот же красивый статный молодой мужчина, когда санитар вышел из палаты. — Мы взяли за правило знакомиться и вкратце рассказывать о себе, потому что мы интеллигентные люди и философы. Я — Олег, но все называют меня Философом, да и мне так больше нравится. «Философ» — звучит гордо. Рядом с тобой, этот, с бородкой — Ботиночкин Ботинок Ботинович, в девичестве, как он в шутку говорит, — Заратуштра. Но он у нас проходящий, он на дневном стационаре. От бессонницы лечится. Далее, этот горбатый парень со злобным лицом, — прости, Озабоченный, — Озабоченный. Они — двое из ларца, которые знают все, особенно Заратуштра.

— Дважды два — четыре. Так говорит Заратуштра, — подняв указательный палец, сказал Заратуштра и вновь углубился в свою газету.

— Это он снова дурочку включил. А когда он дурочку включает — от него ничего умного не добьешься. — Философ посмотрел на следующую кровать. — Далее лежит Леня-барабанщик. Леня, познакомься с Петей.

Лежащий на следующей кровати кудрявый брюнет с натянутым под самый нос одеялом, чуть спустил с лица одеяло и сказал:

— Леня-барабанщик. Ноты не знаю.

— А от Лени тем более ничего не добьешься. Он ноты не знает. Эх, Леня, Леня! Далее следует Виталий Вениаминович, но мы называем его Гороховый Суп. Он такой большой и толстый потому, что, помимо столовой, съедает в день еще две буханки хлеба, ему приносят, а еще он очень любит гороховый суп.

— А что гороховый суп? Да, я люблю гороховый суп! — отозвался Гороховый Суп.

— Тоже философ, потому что делит людей на качественных и количественных. Он считает, что количественные люди, то есть они, которых много, должны служить людям качественным, то есть нам, которых мало. Вот такая непонятная теория.

— Они отчасти служат, но недостаточно, — сказал Гороховый Суп. — Готовят нам капустняк, борщ, гороховый суп. Но они должны еще готовить котлеты, настоящие, с мясом. Должны также быть пирожное, мороженое, шоколад и кока-кола.

— А еще они должны оказывать нам сексуальные услуги, — сказал Озабоченный.

— Не слушай Озабоченного, Петя, — сказал Философ. — Он тебя испортит. Он сексуально озабоченный, но для краткости мы называем его просто Озабоченным.

— Ты, Петя, лучше этого доморощенного философа не слушай! Это как раз он тебя ничему умному не научит! — зло заговорил Озабоченный. — Но я знаю правду-матку: в жизни путеводной звездой мужчине — если он мужчина — служит *фагина* и все, что к ней прилагается.

— Не продолжай, — сказал Заратуштра. — Ты, действительно можешь испортить парня. Ты все время говоришь такие вещи, что так и хочется сжечь тебя на костре, хоть я и не инквизитор.

— Инквизиция, как и христиане вообще, всегда душили, жгли, мордовали, убивали все прогрессивное, все лучшее, что появилось в мире, — сказал Озабоченный. — И сейчас, если бы дать христианам волю, они бы творили то же самое явное зло во имя призрачного добра. Снова запылали бы костры из живых людей. Удивительно, что эта религия еще жива. Мало того, что она объявила любовь грехом, но ведь она противопоставляет себя многим другим законам мира. Ненавижу эту религию! Религия, которая говорит: извините меня за то, что вы меня ударили, — есть религия рабов!

— Все верно. Если обиженный будет просить прощения у обидчика — нарушится мировой порядок, так говорил Прометей, — вставил Заратуштра.

— А «Возлюби ближнего своего, как самого себя», это ты забыл? Или «Не суди и не судим будешь»? — спросил Философ. — Надо бы отличать христианство от того, что сделали из христианства.

— Конечно, не все так плохо в христианстве, — заговорил Художник. — Это как в бывшем СССР в период застоя. Было и что-то хорошее, относительное равенство, относительная законность и относительный порядок, например, но в целом по-христиански, как и по-советски, — жить нельзя. Искусственное все это.

— Язычество было лучше, оно не было противоестественно, — сказал Озабоченный. — Языческие боги были и сами порочны, и к людям снисходительны. И, что самое главное, все связанное с *фагиной*, не считалось у них таким уж большим грехом. Зевс сам был великий греховодник.

— Не говори «*фагина*», это пошло. Говори: «шкаф». Фрейд говорил: «шкаф», — сказал Заратуштра.

— Но именно христианство, а не язычество дало человечеству высочайшую мораль, — сказал Философ.

— А как же китайцы? — возразил Заратуштра. — У них не было и нет ни христианской, ни ветхозаветной морали, тем не менее, никто не скажет, что они менее нравственны. Конфуций сказал, что следует любить ближнего своего как самого себя, задолго до Христа. Нет, все же Новый Завет, поскольку он опирался на Ветхий Завет, в большей степени оказался для Запада злом, чем добром. Недаром же после Средневековья потребовалось Возрождение. Было что поднимать из руин после тотального кровожадного диктата христианской церкви.

— А по мне, — сказал Философ, — пусть люди верят в бога, потому что без этого костыля, быть может, многие до старости не доковыляли бы. Повесились бы лучше, лишь бы отделаться от страха смерти. Но ничего, друзья! Не долго вам мучиться осталось! Скоро я открою настоящего бога, а с ним и настоящее бессмертие!

— Обрести себя в искусстве — вот что должно быть поставлено во главу угла каждым разумным человеком! — воскликнул Художник. — Искусство — это тоже религия, но религия без бога, без лапши на ушах! И костыли искусства — лучшие костыли.

— Я бы не сказал, что они лучшие, — сказал Философ, — потому что на костылях религии вы идете к бессмертию, а на костылях искусства или науки, или другого любимого дела, как ни крути, как ни радуясь, каким интеллектуальным или даже гениальным творцом и благодетелем человечества себя не считай, а к смерти, а это грустно. Но я бы, уважаемые, не стал бы критиковать только христианство. Все религии одинаково лживы, и все они антагонисты истины. Не только в церкви вам лгут, но и в синагоге, и в мечети, и в храме Кришны или Шивы. В любом храме вам лгут. Храмы и созданы для лжи. Нет, нет. Не прав я. Может быть, Петя Нирыба верующий, и я оскорблю его религиозные чувства, или, хуже того, отниму костыли веры. Я прав, а, Заратуштра?

— Ты прав. Лучше быть обманутым, но счастливым, чем знающим истину, но несчастным, — сказал Заратуштра.

— Вот именно. Нет, пока я не создам настоящего бога и настоящего, обоснованное бессмертие, пусть все остается по-старому. С людьми надо быть предупредительнее, тактичнее. Люди слишком ранимы. Так что помолчу пока. Подумаю о том, что хорошо, потому что ответственно, а что плохо, потому что безответственно, и дам Пете познакомиться с Давидом Давидычем.

— Давид Давидович Бронштейн, — представился седой носатый мужчина с пионерским галстуком на шее. — Активный участник Великой Октябрьской социалистической революции. Брал Зимний дворец. Лично знаком с Лениным. Советский партийный и государственный деятель. Историк. Публицист. Режиссер. Снял картины: «Ленин в октябре», «Ленин в Смольном», «Ленин всегда живой». После свержения горбачевской сволочью Советской Власти вел агитационную работу в Хитропупинске и окрестностях, за что был схвачен и без суда и следствия брошен в эти застенки. Настаивал, настаиваю, и буду настаивать, что главное для человека коммунизм и все, что к нему прилагается.

— Главное — не коммунизм, главное — бессмертие и гороховый суп, ну и, конечно, другие вкусы, — сказал Гороховый Суп.

— Но бессмертия нет, а то, чего нет, не может быть главным, — возразил Художник.

— А я слышал, что бессмертие есть, — робко сказал Петя Нирыба. — Просто бессмертные прячутся от смертных в пещерах, чтобы те не убили их от зависти.

— Да, еще и зависть, еще и зависть движет миром! — воскликнул Озабоченный.

— У тебя почему-то миром движет все самое плохое, — заметил Философ. — А любовь? А дружба? А справедливость? Да мало ли всего того хорошего, что движет миром.

— Вот мы тут все философствуем, а Леня опять молчит. Скажи что-нибудь, Леня, — попросил Давид Давидович.

— А что я могу сказать? — вопросом на вопрос ответил Леня. — Я барабанщик, я ноты не знаю.

— А я, в порядке философствования, хочу выдвинуть гипотезу, — сказал Философ. — А может, нам действительно нужен был коммунизм? Может, мы просто не сумели ничего из него построить? И если бы строили его по китайскому образцу, то что-то такое хорошее построили бы? А то говорили, что вот будет у нас капитализм, и потекут тогда у нас молочные реки вдоль кисельных берегов. У нас уже тысячу лет капитализм, а что-то ни молочных рек, ни кисельных берегов даже на горизонте не видно. Как не было счастья — так и нет.

— В Англии счастье есть, потому что в Англии, говорят, хорошо кормят, — сказал Гороховый Суп.

— Может быть, ты и прав, что в Англии счастье есть, — сказал Художник. — Потому что в Англии люди не делятся на простаков и хитропухых. В Англии справедливость и свобода существуют для всех одинаково. А благополучие, а с ним и счастье — это уже плоды свободы и справедливости.

— Спорны твои рассуждения. А как же Китай? — заметил Озабоченный. — Китай — благополучная страна, хоть свобода там и ограничена.

— Не знаю как со счастьем в Китае, я за то, как в Швеции. За вращение социализма в капитализм, — сказал Художник.

— А теперь дайте мне сказать! — заговорил пылко Давид Давидович. — Это что же получается, товарищи пролетарии? Вы что же, отрицаете обнищание пролетариата, а получение некоторыми его представителями тепленьких местечек рассматриваете как вращение социализма в капитализм? Да это только жалкие подачки, потому что власть все равно остается у буржуазии! Парламентская деятельность пролетариат не спасет. Классы остаются классами и между ними — пропасть. Буржуазия по-прежнему будет стараться побольше урвать. Нас спасет только диктатура пролетариата!

— Диктатура тех, кто пьет горькую? — возразил Заратуштра.

— Значит, по-вашему, недавнее увеличение налогов для богатых в Евросоюзе это что!? — гневно заговорил Озабоченный. — Если вся власть у буржуазии, значит те, кто хотят побольше урвать, сами себе налоги увеличили!? Где логика?! Пожалуйста, заткните кто-нибудь Давид Давидовичу рот!

— Сам заткнись! — не смолчал Давид Давидович.

— Тише, тише, не ссорьтесь, друзья, мы же интеллигентные люди! — призвал к порядку Философ.

— Вот ты, Художник, сказал, что благополучие, а с ним и счастье — это уже плоды свободы, — заговорил Озабоченный. — Но вот беда, не ко всем народам свобода применима! Мы, если бы стали свободными, обратили бы эту свободу в свободу воровать. Конечно, мы кричим о настоящей справедливости, и, когда кричим, то вроде и жаждем ее, но, в конце концов, все равно оказывается, что воровать мы жаждем больше, что воровство, оно понадежнее справедливости будет.

— «Так в чем отличие черни от господ? Ни в чем, коль внешний блеск не брать в расчет», — процитировал Шекспира Заратуштра.

— Да, ты прав. Ни в чем. Недаром у нас в народе принято говорить о начальстве не «вор», а «умеет жить», — продолжил Озабоченный. — Для большинства из нас справедливость — это когда воруют все одинаково. Скажете, что это от невежества, что это пройдет? Не пройдет, потому что, если мы учимся, — я говорю обо всем народе, и о хитропурых, и о простаках, — если мы учимся, то учимся не для того, чтобы избавиться от невежества, не говоря уже о том, что не для того, чтобы что-нибудь свершить, в нас нет для этого здорового честолюбия, а для того мы учимся, чтобы устроиться на тепленькое местечко, судьей, например, и там не вершить справедливость, а гнить и радоваться собственному гниению, потому что для нас слаще аромата собственного гниения ничего на свете нет. О боже! Насколько мне эта нация воров ненавистна, хоть я к ней и принадлежу!

— Внесу одну поправку, — сказал Заратуштра. — Бедные, подстегиваемые нуждой, имеют право быть ворами. Когда не хватает самого необходимого, трудно устоять.



— Никто не имеет права быть вором, — возразил Озабоченный. — И потому, если все-таки бог есть, то пусть он лишит нас всех заповедей, оставит одну, но такую, чтобы она вошла в нашу кровь, в нашу плоть, в нашу душу, и чтобы ее никак, совсем никак нельзя было нарушить! Эта заповедь — имей совесть и честь! Бога, конечно, нет. Но не это плохо. Хуже всего то, что у нас нет людей, которых можно бы было назвать совестью нации. Человека, который имел бы право сказать всем, и хитропупым, и простакам: имейте совесть и честь! Нет у нас ни одного такого человека!

— А Дмитрий Иванович Штерн? — спросил Заратуштра.

— Ну, разве что Штерн, — согласился Озабоченный — Только где он сейчас, этот Штерн? Засунули куда-то, чтобы не мешал красть. Как он вообще попал в премьер-министры? Для них ведь выбрать в премьеры честного человека — это обрубить сук, на котором они сидят, сволочи!

— Ты бы поосторожнее с выражениями... — заметил Философ.

— Говорят, что уже разрешили роптать, — сказал Озабоченный.

— На всякий случай лучше не роптать, — сказал Философ.

— Если бы не «шкаф», то ты, Озабоченный, был бы вполне нравственным человеком, — заметил Заратуштра. — Хотя, в принципе, в юности человек может так мыслить, но умирать он должен с другим.

— А о чем человек должен мыслить, умирая? — спросил Озабоченный.

— О разном, о разном, — уклончиво ответил Заратуштра.

— О чем мыслить — подскажет прожитая на земле жизнь, — сказал Философ. — Я, например, буду, надеюсь, мыслить о том, что мне удалось открыть бога, который удовлетворяет как материалиста, так и мистически настроенного человека. И еще я буду мыслить о рае, в который после смерти отправляюсь. И разве есть что-нибудь более великое для религиозного философа, чем найти бога для всех и открыть бессмертие?

— Тебе хорошо, а у меня никогда не было «шкафа», поэтому, прости, но я по-прежнему буду думать о «шкафе». Каждому — свое, — сказал Озабоченный.

— А теперь разрешите и мне сказать, — сказал Художник. — Путеводной звездой человеку служит счастье, вот только счастье

ем этим совсем не обязательно должна быть любимая женщина. Счастьем может быть и удачная картина или книга. Тебе, Озабоченный, сколько лет?

— Тридцать.

— Тогда еще не все потеряно. Тогда у тебя еще будет возможность понять, что женщины — не главное.

— Так, по-твоему, главное — творчество? — спросил Озабоченный.

— Главное — творчество, — сказал Художник.

— Счастье невозможно, даже если ты творец, если ты веришь в смерть, — заговорил Заратуштра. — Ведь, по сути, человек просто сидит в камере смертников и ждет, иногда мучительно ждет, что лет через тридцать, через двадцать, через десять, или вот-вот, с минуты на минуту, его поведут на казнь. Какое уж тут счастье! Не до счастья!

— Не будет казни, — сказал Философ, — потому что существует бессмертие, и я скоро его открою.

— Нельзя открыть то, чего нет, — возразил Озабоченный.

— Не спорьте, товарищи пролетарии и полупролетарии, — сказал Давид Давидович. — Лучше послушайте меня. Есть, есть такое место, где все, абсолютно все проблемы решены. Вот послушайте меня...

## ГЛАВА 11

Когда Иван с Гердой вышли из закуской, по-прежнему моросил дождь.

— Прячься, — сказала Герда, раскрывая зонт.

— Да я вроде не сахарный... — сказал Иван.

— Становись, становись! — настаивала Герда. — Я чувствую себя неуютно, когда неуютно кому-то рядом со мной.

— Ну, разве что из-за этого. Но тогда мне придется к тебе немного прижаться, а от меня пивом разит, наверно.

— Ничего, становись, ты выпил всего лишь кружку, — сказала Герда. — Можешь даже обнять меня за талию, чтобы было удобнее. Я не недотрога.

Иван так и сделал и через некоторое время узнал в шедшем навстречу им мужчине с зонтом Лекрыса. Оба кивнули друг другу, после чего Лекрыс остановился и довольно долго смотрел им вслед.

Фонари не горели. Улица слегка освещалась только горящими окнами домов. Долго шли молча. Ивану хотелось это молчание нарушить, и он не нашел ничего лучшего, как сказать банальность:

— Темень какая на улицах для простаков. Экономит гетман на нас, набивает карманы за счет продажи электроэнергии за границу.

— Ты не боишься мне такое говорить? — спросила Герда.

— Говорят, что уже позволено роптать, а, кроме того, я чувствую, кому можно доверять. В тебе нет фальши.

— Некоторая доля фальши присутствует и в самом искреннем человеке, — заметила Герда.— И искренний человек скажет: «Рад был с вами познакомиться», даже если не испытывает никакой радости. Искренность и вежливость часто несовместимы. Нормальному человеку всегда хочется казаться добрее, чем он есть на самом деле, и он часто предпочитает вежливость искренности.

— В твоём понимании «нормальный», значит, хороший?

— В моём понимании в нравственном отношении есть нормальные и ненормальные. Из известных истории людей на свете был лишь один хороший человек, да и тот умер, отравившись несвежей свиной.

— Будда? — спросил Иван.

— Будда, — подтвердила Герда.

— А Христос тогда кто?

— Христос был ригористом, не признавал никаких компромиссов. Будда ригористом не был.

— Я тоже ставлю Будду выше Христа, — сказал Иван. — Христос говорил: «бросьте все и идите за мной». А Будда говорил: «если хотите — идите за мной». Чувствуешь разницу?

— Да. Будда говорил, что не следует хулить чужую веру, что надо уважать чужую веру, даже противную нашим убеждениям. Христос бы так не сказал. Христос был фанатиком.

— Да, хорошим человеком был Будда, но я бы за ним не пошел. Ни за ним, ни за Христом, который, кроме креста, принес в мир меч, ни за Магомедом, который тоже принес в мир меч. Я лучше бы залез в свою раковину и посмотрел бы, что из этого всего выйдет.

— Ты трус?

— Не то чтобы трус. Хотя ты не первая меня называешь трусом. Просто я ни в чем не уверен.

— Но все-таки они несли в мир добро.

— А принесли зло.

— К Будде это не относится.

— Да, к Будде не относится. Но и за ним я не пошел бы. Потому что как неповторима внешность человека, так же неповторим и его внутренний мир. Очень правильно Высоцкий пел в «Чужой колее»: «Делай как я, это значит не надо за мной».

— Ну хоть что-то тебе близко?

— Эпикур. Только не путай с Аристиппом.

— Знаю, это у него, у Аристиппа беспорядочные и безмерные плотские утехы.

— Да, — продолжил Иван. — У Эпикура наслаждения жизнью разумные. Такие, после которых не бывает горького похмелья. Такие, чтобы не принести вреда ни себе, ни людям, а, напротив, наслаждаться, по возможности, взаимно.

— У тебя получается?

— Не всегда. Видимо, для разумных наслаждений нужны рассудок и дисциплина. Мне их недостает.

— А ты самокритичный, а это уже говорит об уме.

— Просто я много читаю. Только ты не подумай, что я хвастаюсь, что много читал. «Прочесть тысячу книг — не большая заслуга, чем вспахать тысячу полей», — сказал Сомерсет Моэм. Но мне зачастую кажется, что все же лучше вспахать тысячу полей, чем прочесть тысячу книг. Меньше будет самолюбования. Вот де я какой необыкновенный! Кроме того, чтение — тоже своего рода пропаганда, тоже отучает самостоятельно мыслить.

— Ты не прав, — сказала Герда. — Надо много читать. Даже гениям более обширные знания позволили бы больше себя проявить. Шире было бы поле для творчества. Шевченко, например, больше бы себя проявил. Разнообразнее.

— Если бы он, вдобавок, дольше прожил.

— Да, конечно. И если бы был хоть чуточку повеселее.

— Но такая жизнь у него была. Такая, что не до веселья, — сказал Иван.

— Да, конечно, — согласилась Герда.

Некоторое время они шли молча. Потом Герда сказала:

— Вот ты меня провожаешь, а тебе-то самому долго будет домой возвращаться?

— Мы прошли уже улицу Самой Светлой Надежды. Там, в самом начале улицы, мой дом.

— Это тот, самый высокий дом?

— Верно.

— А на каком этаже ты живешь?

— На предпоследнем, шестнадцатом.

— А площадь Первого Великого Гетмана из твоих окон видно?

— Из моих — не полностью. Загораживает здание архива, а вот с технического этажа уже должно быть видно.

— И что же? Туда можно попасть?

— Там стальная дверь, и замок, как в сейфе.

— Значит, попасть нельзя?

— А почему ты интересуешься?

— А у тебя не возникла мысль забраться на что-нибудь с винтовкой с оптическим прицелом и застрелить Брехунца, когда после Нового года происходит возложение цветов к памятнику Первого Великого Гетмана?

— Не возникала.

— А у меня возникла. Жаль, что там как в сейфе.

— Ну, есть люди, которые могут открыть любой замок и справиться с любой сигнализацией.

— Только где такого найти!

— Среди уголовников, — сказал Иван.

— Не хочется знаться с уголовниками.

— Раз хочешь посмотреть на гетмана сквозь оптический прицел — придется знаться. Да и среди них, как и среди всех, разные люди. Тем более медвежатники. Это совсем особые люди. Это техническая интеллигенция в своем роде.

— А где уголовники обычно собираются?

— Ну, я не очень-то осведомлен, слышал только о кафе «Стрелка».

— А на какой оно улице?

— На углу улицы Самых Светлых Умов и проспекта Бывших Алкоголиков.

— Ну все, забудем! — Герда посмотрела на Ивана. — А ты как будто повеселел.

— Да, немного отвлекся, — он помолчал, а потом продолжил: — Ты прости, но можно я выговорюсь?

— Выговорись, если так тебе будет легче.

— Я, наверное, подлец, потому что иногда мне кажется, что лучше бы она — ты извини, я о своей бывшей жене, — не ушла, а умерла. Я бы легче это перенес. И все же я себе это чертовое пьянство не прощаю. Я знаю, что эта слабость, позорная слабость. Мужественный человек от неразделенной любви не запьет. Но, с другой стороны, можно меня простить. Пьянство — это порок многих мужчин украинской породы. Порода такая у меня. Гены. Мы же не обвиняем таксу за то, что у нее короткие ноги?

Помолчали.

— А я ведь часть вашего разговора обо мне краем уха слышала. Насчет того, что я не от мира сего. Так вот, я тоже от мира сего. И стихи мои трудно назвать стихами. Так, стишки.

— У тебя одухотворенное лицо.

— Это еще ничего не значит. Внешность может быть обманчивой. Я такая же язва, какой и ты бываешь в своих афоризмах. Вот, послушай:

Вы знаете, как приходит гонорея?  
Это было в Одессе.  
«Приду в десять», сказала Мария  
И пришла в десять.

Хотя, конечно, это не оригинальные стихи, это реминисценция.

— Что такое реминисценция? Я вроде и много читаю, но это слово забыл.

— По-латыни: «воспоминание». Заимствование образов или ритмико-синтаксических ходов из другого произведения.

— А что такое «ритмико-синтаксический»?

— Ну, если синтаксис — это по-гречески «построение или порядок», то ритмико-синтаксический — это значит «ритмически построенный». Хотя мне и не следовало тебе это сообщать.

— Почему?

— Потому что парню, когда он знакомится с девушкой, нужно точно знать, есть ли у нее половые органы. А из моей ученой речи это не совсем ясно. Я тебя не ошаршила?

— Разве что чуть-чуть. У моей бывшей жены тоже такой же вольный ум. Тоже не стесняется шутить по поводу секса.

— А кто она?

— Она журналист, пишет о ночной жизни города.

— А как ее имя?

— Анастасия Шевченко.

— Читала я кое-что. Ничего, по-моему, пишет. И красивая она, я фото в журнале видела.

— Да. Но ее красота и твоя красота — разные. У нее красота яркая, я бы даже сказал несколько вульгарная, а у тебя — иконописная, хотя, конечно, женщина ты тоже земная. Хотя, может быть, и ты была бы ярка, если бы пользовалась косметикой. А впрочем, у тебя и без туши ресницы как подведенные.

— Это хорошо или плохо, что я земная? Ты сказал, что я земная женщина.

— Это практично. Я же не сказал «приземленная».

— Прости, но что плохого даже в приземленной женщине? Что плохого, если женщина обхаживает, обстирывает, обглаживает своих детей и своего мужа, ничего не требуя взамен? Разве это плохо? Разве она менее важна? Разве она в своем роде не герой? В мире нет ничего неважного. Всё и вся в ней расположено по горизонтали, а не по иерархической вертикали. Приземленная женщина ничем не ниже ни великого поэта, ни великого ученого. Может быть, что без этой приземленной женщины не состоялся бы ни этот великий поэт, ни этот великий ученый. Разве я не права?

— Не совсем, по-моему, — сказал Иван. — Есть все-таки в мире и важное, и не важное. Мы с брезгливостью относимся ко многим насекомым, но природе, чтобы перерабатывать отходы в почву, за счет которой мы живем, нужны именно насекомые, а вовсе не мы. Без нас природа не только обошлась бы, а даже, если бы мы вдруг исчезли, вздохнула с облегчением. Как это ни прискорбно, но важны низшие формы жизни: бактерии, насекомые, менее важны лягушки, еще менее важны высшие, коровы или тигры, например, но человек совсем не важен.

— Пожалуй, так говорить не стоит... — сказала Герда.

— Почему? Ведь это истина.

— Это одна из истин. И не самая лучшая. Не вдохновляет. И потом, я говорю не о природе, а о людях. О том, что для благородного человека все люди расположены по горизонтали. Это я вычитала у Гете. Да и у других мыслителей тоже что-то подобное было. И я с ними почти согласна, за исключением одного.

— Чего?

— За исключением того, что бывают исключения, сверхчеловеки. Хотя подавляющее большинство людей, конечно, располагается по горизонтали.

— Люди лишь по сути располагаются по горизонтали, а в самомнении — нет, потому что насквозь тщеславны, — сказал Иван. — Казалось бы, это плохо, но именно тщеславие движет прогрессом. Тщеславие и любопытство.

— Нет. Честолюбие и любознательность. Хотя, конечно, не только они.

— Извини, Герда, но честолюбие и любознательность — это просто более красивые названия тщеславия и любопытства. На деле же это то же самое.

— Не то же самое. Честолюбие имеет целью реализовать себя и доказать себе и другим, себе в первую очередь, что ты чего-то стоишь. Тщеславие же имеет цель только подать себя в выгодном свете. Честолюбие совершенствует человека, а тщеславие совершенствует умение себя подать. А по поводу любопытства и любознательности, то в любопытстве может быть что-то вульгарное, в любознательности же вульгарного нет.

— А ты молодец! — сказал Иван. — Умешь разложить все по полочкам.

— Просто я много размышляю.

— Философ в юбке.

— Ты меня не оскорбил.

— Я знал, что не оскорблю тебя. Ты, по-моему, из тех редких женщин, которые любят, когда их хвалят не за красоту, а за ум. Хотя и красотой ты не обойдена.

— Возможно, только я не философ. Философия, что подтверждается ее тысячелетней историей, — пустая болтовня, и любой философ, когда он пытается загнать жизнь в какие-то свои надуманные схемы, пустое место по сравнению с обычным учителем физики, математики, химии или литера-



туры. Ни разуму, ни положительного знания, ни Шопенгауэр, ни Ницше, ни Ленин, ни кто-то еще не добавляет. Болтовня все это.

— Но у философов есть мудрые мысли, — возразил Иван.

— Не спорю. Но шопенгауровский «человек-щепка», которого злая бездушная субстанция невесть куда несет — это далеко не всегда правда. Каждый человек, если он не дурак, чаще всего имеет все-таки возможность в свободном обществе построить себя и свою судьбу. Мне ближе Сартр. По Сартру, поскольку, быть свободным — это быть самим собой, то «человек обречен быть свободным». И все же, если уж я и философ, то позитивист. Я считаю, что подлинное знание может быть получено только как результат отдельных наук или в результате их синтеза и в результате эксперимента, а уж никак не в результате заумного мудрствования. Сказки это все. И каждый из этих сказочников сочиняет сказку на свой лад, попутно объявляя других таких же сказочников дураками. «У вас неправильные пчелы, — говорит он, — и дают они неправильный мед. А вот мои пчелы дают мед правильный». А потом оказывается, что и его пчелы тоже дают неправильный мед. И так до бесконечности. Но вот в учении Ницше есть здоровое зерно. И это его зерно — сверхчеловек.

— Сверхчеловека не существует.

— Существует. Существуют люди, ставящие перед собой такие благородные цели, что они оправдывают любые средства.

Герда остановилась и, чуть задрав голову вверх, сказала:

— Мы пришли. Вот мои окна на пятом этаже. Те, что светятся.

— Хорошие окна, — сказал Иван. — Окна хороши, только когда они светятся, когда ты возвращаешься домой.

— Ты боишься одиночества? — спросила Герда.

— Да. Я не мудрец. Поэтому боюсь.

Они прошли еще несколько шагов.

— А теперь в эту арку. Опять лампочку разбили, вандалы.

Тут от стены отделились две темные мужские фигуры.

— Огонек есть? — спросил один из парней и подошел к Ивану вплотную. Другой же, когда Иван полез в карман, зашел к нему за спину. И только Иван вынул зажигалку из кармана, как в голове что-то ярко вспыхнуло, ноги подкосились, и он провалился в кромешную тьму.

## ГЛАВА 12

— Довелось мне проповедовать великие идеи марксизма-ленинизма на базарчике одного провинциального городка, — начал рассказывать Давид Давидович. — Прочитал я проповедь, а потом, сам не знаю, как это получилось, схватил курицу с прилавка, таким голодным был. Мне говорят: «Положь курицу на место!», а я смотрю на курицу, она хоть и сырая и синяя, но для меня даже сырая и синяя такая аппетитная, что я, хоть и понимаю, что нехорошо поступаю, что Ленин бы так не поступил, но курицу назад положить не могу. Вот не могу — и все тут. Словно окаменел, и словно приросла к моим окаменелым рукам эта несчастная синяя птица. Словно я сам самым поганым капиталистом стал. Смотрю — баба, рослая такая, выходит из-за прилавка и тянет к моей курице свои грабли. Тут я встрепенулся — и деру. Бегу вдоль железнодорожного полотна — базарчик возле железной дороги был, — а баба за мной. Человек я, конечно, немолодой, бежать мне трудно, а она баба молодая еще и сильная, такая сильная, что боязно даже. Смотрю, рядом со мной притормаживает паровоз. Сначала быстро так стучал: чух, чух, чух, чух, а потом медленно: чух-чух, чух-чух. И женщина-машинист из паровоза высовывается, грязная вся, но, как и я, с пионерским галстуком на шее. Высовывается и кричит: «Брось курицу!» Смотрю, баба вот-вот меня догонит. А машинист снова: «Брось курицу, кому говорю, это не по-коммунистически!». Ну, бросил я тогда курицу, а баба не отстает, и на курицу ту несчастную уже нуль внимания, а все внимание на меня. Что-то идейное в ней проснулось, что-то пролетарское. Тут машинист открывает дверь и кричит: «Руку давай!». Ну, схватился я одной рукой за поручень, а за другую — она втянула меня в паровоз. И снова паровоз ускорился: чух, чух, чух,чух. Смотрю — баба отстала, остановилась, и только оставалось ей, как погрозить мне кулаком. А мне и бабу жалко, люблю я в людях это пролетарское, но и себя жалко тоже, курицу я так и не съел. Вы спросите, как же это можно есть сырую курицу? А я съел бы. Честное коммунистическое, съел бы, такой голодный был! Ну, отдышался я, а машинист и спрашивает: «Тебе в Хитропупинск?». «В Хитропупинск», — говорю. «В Хитропупинск не могу, я в Хитропупинск Небесный». «А это что за город такой, Хитропупинск Небесный?», — спрашиваю. «А это такой город, что

вроде бы и Хитропупинск, а с другой стороны вроде и не Хитропупинск. Все на велосипедах, и не от нищеты, а как в Голландии или Дании, где люди не бахвалятся богатством. И лица у людей такие... такие... и не опишешь, какие хорошие и добрые. Это все потому, что люди у нас — сплошь творцы. Поскольку всю работу делают роботы, а люди физически не трудятся, то им ничего не остается, кроме как заняться наукой и искусством». «Тогда и мне в Хитропупинск Небесный, — говорю я. — Я тоже хочу заняться наукой или искусством». «Тебе еще рано, — говорит машинист. — Ты должен всех оповестить, что есть такой город, и тогда я за тобой и всеми твоими единомышленниками прилечу». Вот как. А вы говорите, что только в Англии есть счастье. А теперь, уважаемая пролетарская и полупролетарская масса, задавайте свои вопросы. Я не буду увиливать даже от самых острых, как завещал великий Ленин, и как учила нас Коммунистическая Партия Советского Союза.

— Да-а-а... — протянул Озабоченный. — Наворотил, такого наворотил! И на чем же держится твой Небесный Хитропупинск?

— Точно не знаю, но, наверное, на каких-то канатах.

— А за что цепляются канаты?

— Точно не знаю, но, наверное, за небо.

— Да как же канаты могут цепляться за воздух?

— Стыдно, товарищи пролетарии. Стыдно не знать, что небо — это и твердь. Вначале воздух, а потом еще и твердь. Твердь небесная, как сказано в библии. Все ясно?

— Чушь и белиберда, — сказал Озабоченный. — И кто же построил этот город и подвесил его на тверди небесной?

— Ленин, Маркс и Энгельс, а также Сократ, Платон, Аристотель и Пифагор своим святым духом.

— Так они что, боги теперь?

— Объясняю для бестолковых. Судя по тому, что говорил Пифагор, они теперь живут в *новосфере*, оболочке, окружающей землю, в виде святых духов, которые веют, где хотят и творят разумное, доброе, вечное. Они не умерли, ибо сказано: «Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить!». Все понятно?

— С тобой все понятно! — сказал Озабоченный.

— А как туда можно попасть, на самолете? — спросил Петя Нирыба.

— На самолете нельзя, только на паровозе. Ибо сказано: «Наш паровоз, вперед лети, в коммуне остановка», а не сказано: «Наш самолет, вперед лети, в коммуне остановка».

— Но паровозы не летают, — возразил Петя.

— Повторяю для идиотов. Есть особые пролетарские паровозы, которые летают. Иначе пели бы: «Наш паровоз, вперед езжай», а поют: «Наш паровоз, вперед лети». Все ясно?

— С тобой все ясно! — повторил Озабоченный.

— Вот видите, товарищи пролетарии и полупролетарии, я не увивал даже от самых острых вопросов. Как видите, товарищи, бог есть, но бог — это совокупность множественных великих умов, живущих в *новосфере*.

— Толково ты все объяснил, но вопросы остались, — сказал Заратуштра.

— Задавайте, ответу на любой.

— Тогда ответь, ради интереса, почему люди летают на самолетах и ракетах, но твоего Небесного Хитропупинска никто до сих пор в глаза не видел? — поинтересовался Озабоченный.

— Потому что он в другом измерении, как буддийская Шамбала, его могут увидеть только просветленные, такие просветленные, как Будда и я.

— Будда просветленный? Скорее уж наш Озабоченный с его шкафом просветленный, а Будда — это человек, который мечтал стать огурцом, — заметил Заратуштра.

— А впрочем, в самом деле, если люди верят, что на небе есть рай, то почему бы ни поверить в Небесный Город? — сказал Озабоченный. — Что ни говори, но почти все люди — в той или иной мере — мистики, почти все люди верят в какой-нибудь космический разум, или волю, или дух, или гадалкам верят, ясно-видящим, экстрасенсам, или в приметы, а поэтому многие поверят и тебе, Давид Давидыч.

— А, по-моему, — это уж слишком! — возразил Художник.

— Нет такой глупости, в которую невозможно поверить, — сказал Заратуштра.

— Врете вы все! — крикнул Давид Давидович. — Но трудовой народ поверит мне!

— И трудовой народ не поверит! — сказал Художник.

— Поверит, поверит, еще как поверит! Эх вы, паршивые интеллигенты!

— Успокойтесь, Давид Давидович, мы ведь не со зла, мы просто дискутируем, — сказал Заратуштра.

— Да, дискутируем, — подтвердил Озабоченный. — Но хочу остановиться на том, что для меня по-настоящему важно. Есть ли в Небесном Хитропупинске публичные дома? Надо чтобы в нем были публичные дома, и чтоб женщины там трудились не ради денег, а ради коммунистической идеи. Иначе все в этом городе будут счастливы и только один я несчастен.

— Тебе только тридцать лет, тебе не публичные дома нужны, а девушка, которая тебя полюбит! — сказал Давид Давидович.

— А кто меня полюбит? Рожа кривая, прыщавая. Да еще горб. Так есть там публичные дома?

— Публичных домов там нет, потому что публичные дома — это не по-коммунистически! — сказал Давид Давидович. — Но там есть любовь, потому что любовь — это по-коммунистически.

— И по-христиански, — сказал Философ.

— Но только не любовь мужчины и женщины, — сказал Заратуштра. — Любовь мужчины и женщины в христианстве всего лишь допустима. Это монашество добродетель

— Это потому, что отцы церкви, как и все мы, как и Фрейд со своим дурацким эдиповым комплексом, все примеряли на себя! — воскликнул Озабоченный. — Примерили на себя роль евнуха, им эта роль подошла, а то, что другим это ну никак не подходит, не учли. Свою рубашку, поскольку она ближе к телу, только ее и чувствуешь, не понимаешь, что другие — совсем не такие как ты!

— Но ничего, скоро я открою настоящего бога, который будет считать добродетелью и половую жизнь, — сказал Философ. — И вот еще что: я перечитал всю библию и решил, что мой бог, в отличие от библейского, не будет лишен чувства юмора.

— Он и сейчас не лишен чувства юмора, — заметил Озабоченный. — Вот только юмор у него своеобразный. Черный, прямо скажем, юмор. Помните анекдот про крематорий в концлагере? «Дяденька, можно я с кошечкой в печечку? — Иди, изверг». Вот это «с кошечкой в печечку» и есть чертов божий юмор!

— Я вижу, как тебе, Озабоченный, это не по нутру. Ты аж темнеешь весь. Но ведь о смерти можно говорить не с горечью, а со светлой грустью, — сказал Заратуштра.

— Давит меня это, даже подавляет.

— Не тебя одного, — сказал Заратуштра. — Но если внушить себе, что жизнь не так уж и хороша, не так страшна будет смерть. Вы как хотите, а мне даже как-то по-своему хорошо, когда я пою:

Настанет день, и с журавлиной стаей  
Я поплыву в такой же сизой мгле,  
Из-под небес по-птичьки окликаю  
Всех вас, кого оставил на земле.

Не давит же? Может и печально, но не давит же?

— Рыдать хочется! — сказал Озабоченный.

— Ну так порыдай.

— Уже не хочется.

— Давай еще что-нибудь в том же духе, чтобы ты окончательно уразумел, что такое светлая грусть. Например:

Уж сколько их упало в эту бездну,  
Разверстую вдали.  
Настанет миг, когда и я исчезну  
С поверхности земли.

— Ты издеваешься надо мной?! — закричал Озабоченный. — Люди! Заратуштра надо мной издевается!

— Ну что ты, я же интеллигентный человек! Ну, если это вас всех так донимает, тогда я молчу.

— Вот мы тут размышляем, а Леня опять молчит, — заметил Давид Давидович. — Скажи что-нибудь, Леня.

— А что я могу сказать? Я барабанщик, я ноты не знаю.

— Это очень мудро, что господь, создавая человека, разместил в голове глаза, рот, а на голове нос и уши. Иначе у многих головы просто отваливались бы за ненадобностью, — заметил Озабоченный.

— Да, Леня. Ты хоть, как и я, еврей, но голова у тебя не еврейская, — печально сказал Давид Давидович.

— Между прочим, и у Мандельштама, и у Пастернака, и у Бродского, и у Эйнштейна были вовсе не еврейские головы, — зло заговорил Озабоченный, — потому что «еврейская голова» — это изворотливость. Поэтому еврей Христос на деле не был евреем, а вот еврей Березовский и иже с ним — были.

— По-видимому, тебе доставляет удовольствие оскорблять выдающихся личностей! — гневно выкрикнул Давид Давидович.

— Мне доставляет удовольствие не сотворять себе кумира, — сказал Озабоченный. — Все кумиры — люди, и не обязательно самые лучшие люди. И гений тоже может быть подлецом. Кстати, по-моему, гениальность — это не заслуга. Я, например, родился уродом. Не повезло. Другой родился красавцем. Повезло. Лотерея это, поэтому несправедливо говорить, что Теорию относительности создал Эйнштейн. Надо говорить от самых азав: то, что вышло из проникновения безмозглого сперматозоида в безмозглую яйцеклетку, создало Теорию относительности.

— А труд, как же труд? Ведь все не без труда? — спросил Философ.

— И любовь к труду тоже была заложена в сперматозоид и яйцеклетку. Вот так-то. И боюсь, что моим доводам, по большому счету, вам, уважаемый Давид Давидыч, так же трудно возразить, как и Теории относительности вашего хваленого еврея.

— Да ты еще и антисемит! — вскричал Давид Давидович.

— Я не антисемит. Я люблю евреев. Но я бы любил вас больше, если бы вас было меньше.

— Сволочь ты! — закричал Давид Давидович. — Гитлер!

— Успокойтесь, Давид Давидович, — заговорил Заратуштра. — Озабоченный так сказал ради красного словца. Только ради красного словца. Он, как и я, любит красное словцо и ничего с этим не может поделать. На деле же он не антисемит. Он, я полагаю, своего рода космополит. Он одинаково ненавидит всех. И себя в том числе.

— Потому что человечество — это ядовитая плесень, расползающаяся по планете, и думающая при этом, что все как-нибудь устроится. То есть думающая, что она думает. Ты согласен, Заратуштра? — спросил Озабоченный.

— Согласен, — сказал Заратуштра. — Глобально мыслить — это не способность человечества, это способность муравейника.

— Верно, — сказал Озабоченный.

— А теперь извинись перед Давидом Давидычем, — сказал Заратуштра. — Он — хороший человек.

— Потому что коммунист, — сказал Давид Давидович.

— Да. Распалился я... — сказал Озабоченный. — Вы меня простите, Давид Давидыч, за то, что я вас и вашу расу обидел. Да, я злой. Но злой больше на словах. Не такой уж я в глубине души мизантроп. Ведь, если по большому счету, то вы, Давид Давидыч, и ваш пролетарский паровоз, и ваш Хитропупинск Небесный мне нравятся. Да и Эйнштейн, судя по воспоминаниям современников, был хорошим человеком, а это в ядовитой плесени главное.

— Ты правду говоришь? — недоверчиво спросил Давид Давидович.

— А за что мне тебя не любить, а, Давид Давидыч? За то, что ты, по-своему, желаешь людям счастья? Ведь ты хочешь Града Небесного не только для себя. А что курицу украл — так это понятно.

— Он еще и крышку от канализационного люка стащил, — заметил Художник.

— И это тоже правильно, — сказал Заратуштра. — Днем, чтобы не упасть в люк, на то глаза есть, а ночью порядочные люди по улицам не шляются.

— Вы правду говорите? — все еще сомневался Давид Давидович.

— Как на духу, — сказал Заратуштра. — А с целью окончательного примирения давайте споем коммунистическую песню.

— Тогда давайте «Ленин всегда живой, Ленин всегда со мной, в горе, надежде и в радости».

— Нет, про Ленина не хотим. Давай про лодочку, — сказал Заратуштра.

— «Милый друг»?

— «Милый друг».

— «Милый друг, наконец-то мы вместе», — начал Давид Давидович, и скоро вся палата подхватила, а Леня-Барабанщик даже приподнялся в постели и принялся выстукивать на коленях ритм.



Ты плыви, наша лодка, плыви.  
Сердцу хочется радостной песни  
И хорошей, большой любви.

С той поры, как мы увиделись с тобой,  
Образ нежный в своем сердце я ношу,  
По-иному я живу и я дышу  
С той поры, как мы увиделись с тобой.

Милый друг, наконец-то мы вместе,  
Ты плыви, наша лодка, плыви.  
Сердцу хочется радостной песни  
И хорошей большой любви.

Не могу я наглядеться на тебя,  
Как мы жили друг без друга, не пойму.  
Не пойму я, отчего и почему  
Не могу я наглядеться на тебя.

Милый друг...

Похоже, что после песни все пребывали в благостном состоянии духа. Даже немногословный Леня-барабанщик вдруг сказал нечто новое:

— А хорошо-то как, друзья, играть на барабане!

— Хорошая песня, коммунистическая! — сказал Давид Давидович.

— Да, добрая песня, — заметил Философ.

— Потому что коммунистическая! — с укоризной сказал Давид Давидович. — Эх! Скорее бы уже в Небесный Хитропупинск!

— А какие там люди, в Небесном Хитропупинске, качественные или количественные? — спросил Гороховый Суп.

— Там качественные люди, высокоморальные, — ответил Давид Давидович.

— Тогда и я хочу в Небесный Хитропупинск, — сказал Гороховый Суп.

— А барабанщики там нужны? — спросил Леня-барабанщик.

— А как же! Ведь там каждый день парады! — воскликнул Давид Давидович.

— Тогда и я хочу в Небесный Хитропупинск!

## ГЛАВА 13

Очнулся Иван в помещении с прозрачными стеклянными стенами, за которыми был виден цветущий вишневый сад. Иван сидел в одном из белых кресел напротив многочисленных стеллажей, заполненных какими-то тюками и коробками. Над ними от стены до стены, не держась ни на чем, а прямо в воздухе, огнем горели буквы: «Добро пожаловать в рай!». Перед стеллажами за табличкой «Ангелина» у компьютера сидела женщина в белом платье. Из-под стола были видны ее ноги в прозрачных светлых чулках и белых босоножках. Ничего себе Ангелина и ничего себе ножки, но в одном из чулок была дырка, из которой торчал большой палец с облупленным малиновым педикюром. Ангелина отвела глаза от компьютера, посмотрела в зал и спросила:

— Кто из вас Петров Николай Иванович?

— Я! — отозвался молодой мужчина.

— Город Набережные Челны, улица Киевская, дом пять, квартира четыре? — осведомилась она.

— Все верно, — сказал Петров.

— Подойдите, пожалуйста, к стеллажам, — попросила она, вставая из-за стола. — Устала повторять, но приходится. Новый дом только строится, поэтому пока поживете в палатке. Ничего, у нас тепло и никогда не бывает жарко. У нас круглый год весна. Вот, берите этот тюк и кладите на тележку. А еще вам положено вот это, — она указала на мешок, — вот это, — она указала на другой мешок, — и это, — она указала на третий мешок. А вот и ваша арфа.

— А зачем мне арфа, я и играть-то на ней не умею? — недоумевал Петров.

— Придется научиться.

— Но я не хочу учиться! — упрямылся Петров.

— А как вы хотите славить бога? — спросила Ангелина.

— А кто распорядился славить бога, бог?

— Точно не знаю, но такова традиция, — сказала Ангелина.

— Вот и я сомневаюсь, что он так распорядился, поэтому оставьте эту арфу тому, кому она действительно нужна.

— Уважаемая Ангелина! — вступил в разговор небольшого роста, молодой, но уже почти лысый мужчина. — А арфа у вас случайно, не золотая?

— Позолоченная.

— Тогда я заберу. И эту, и ту, что мне полагается, тоже. Я буду славить бога за двоих.

— Вот и прекрасно. С арфами разобрались. Теперь с Прекрасной Незнакомкой. Вам нужна Прекрасная Незнакомка или потом сами себе найдете?

— Не нужна. Я вдовец. Меня жена, наверное, ждет.

— Не хочу вас огорчать, но ваша жена нашла себе Прекрасного Принца. Бывает. Так вы берете Прекрасную Незнакомку?

— Я заберу! — снова вмешался лысый. — И эту, и ту, что мне полагается!

— Да погодите вы! — воскликнула Ангелина. — Думайте, Петров.

— А согласия девушки не требуется? — спросил Петров.

— Выходит только та Прекрасная Незнакомка, которая не против с вами познакомиться.

— Но я так стар... — грустно проговорил Петров.

— Здесь все молоды, вы не видели себя в зеркале, — сказала девушка модельной наружности, выходя из-за стеллажей. — Это называется «преображение».

— Тогда действительно, слава всевышнему! Готов славить его даже игрой на арфе! — обрадовался Петров.

— Значит, берете арфу?

— Беру.

— Поздно, поздно! — закричал лысый.

— Пока что здесь всем распоряжаюсь я! — строго сказала Ангелина. — Значит, все-таки, забираете?

— Забираю. Пожалуй, славить бога богу, может быть, и не нужно, но, пожалуй, это нужно мне.

— Тогда ступайте с богом, молодые.

Молодые с тележкой скрылись в проеме, за которым начинался вишневый сад, а Ангелина снова углубилась в экран компьютера, положила ногу на ногу и стала помахивать ногой с торчащим из дырки большим пальцем с ногтем в облупленном малиновом педикюре. Иван долго смотрел то на сосредоточенную Ангелину, то на ноготь, и, наконец, спросил:

— И не дует вам?

— Что? — спросила Ангелина.

— Сквозняк не ощущаете?

— По-моему, здесь нет никакого сквозняка.

— Я знаю, что этот мерзавец имеет в виду! — возмутился лысый. — У вас дырка в чулке. Ох, и мерзавец, ох и мерзавец!

— Я всего лишь попытался быть искренним! — оправдывался Иван.

— Принимают в рай всяческих мерзавцев! Была б моя воля, я бы его и на порог не пустил! — продолжал возмущаться лысый. — Таких, как он, надо прямо в ад!

— Извините, не хочу огорчать вас, но ада нет, ад выдумали садисты, — сказала Ангелина.

— Простите, я не хотел вас обидеть, — снова извинился Иван.

— Ничего, ничего. Кто-то же должен был мне это сказать, иначе всю смену так и проработала бы посмешищем, — говорила Ангелина, снимая чулки.

— Вы не были посмешищем. Забавной — да, но не посмешищем, — сказал Иван.

— Куда же их деть? — держа чулки в руке, Ангелина смотрела по сторонам. — У нас и урны здесь не предусмотрены.

— Я заберу! — закричал лысый. — Прекрасной Незнакомке подарю! Ничего, заштопает!

— Да забирайте! — махнула рукой Ангелина, положила чулки на стол и посмотрела на экран.

— Кто из вас Шевченко Иван Исаакович? — спросила она.

— Я, — отозвался Иван.

— Город Хитропупинск, улица Самой Светлой Надежды, дом 1, квартира 64?

— Все так, — сказал Иван.

— Какое замечательное название! Улица Самой Светлой Надежды! — сказала Ангелина, бегая пальцами по клавиатуре. — Только вы отчего-то мрачны. Развеселитесь. Человек с такой улицы должен быть весел. Только вот вас в райской книге нет. Может быть, позже внесут? Погодите, а пока займемся следующим. Кто из вас Сидоров Анатолий Сергеевич?

— Я, — сказал лысый.

— Голопопинск, улица Гробовщиков, дом 17, квартира 1.

— Да, улица Гробовщиков. Но я, как видите, весел. Не то что некоторые!

— Подойдите сюда, — встав из-за стола, сказала Ангелина. — Берите эту коробку, вот эти два тюка и арфу.

— А что это у вас за унитаз? — укладывая вещи, спросил Сидоров, косясь на стоящий у стеллажей унитаз. — Он, случайно, не золотой?

— Золотой, — подтвердила Ангелина.

— А можно, я его заберу?

— Зачем? В доме, который сейчас строится, уже стоят прекрасные финские голубые унитазы. Зачем вам еще один унитаз?

— Хотите верьте — хотите нет, но золотые унитазы с детства будят во мне нечто разумное, доброе, вечное. Вот ему, — Сидоров ткнул в Ивана пальцем, — этого не понять.

— Откровенно говоря, я и сама вас не понимаю. Но берите, коль разумное, доброе, вечное.

— Вот и чудесенько! — обрадовано потирал руки Сидоров. — А теперь давайте сюда Прекрасную Незнакомку. Где она там запропастилась?

— Эй, Прекрасная Незнакомка! — крикнула Ангелина в глубину стеллажей.

Слышно было, как где-то за стеллажами шептались. Слышалось: «Дура!» Потом: «Сами вы дуры, я буду за ним, как за каменной стеной!» — и Прекрасная Незнакомка, девушка все такой же модельной внешности, подошла к Сидорову и взяла его под руку.

— Помоги мне взвалить на тележку унитаз, — сказал Сидоров.

— С удовольствием. Ой, да он тяжелый!

— Давай я буду держать тележку, а ты взваливай.

— А может, наоборот?

— Делай, что тебе велят!

— Но мне тяжело!

— Ладно, держи эту чертову тележку! — сказал Сидоров, взвалил на тележку унитаз, и они покатали тележку к выходу.

Ангелина снова углубилась в экран компьютера, потом подняла глаза на Ивана.

— Таки нет вас в райской книге. Значит, вы временный.

— Это как?

— Походите по раю, посмотрите, что тут и как, и вернетесь на Землю. Если, конечно, захотите.

— Значит, Прекрасная Незнакомка мне не полагается? — спросил Иван.

— Найдете себе. Их полно на Аллее Надежд.

— Они симпатичные? — спросил Иван.

— Несимпатичных у нас нет. Даже Сидоров, как он мне не симпатичен, внешне симпатичный. Это называется «преображение».

— Значит, внутреннего преобразования не требуется?

— Не требуется. Приходится мириться с такими, как Сидоров, потому что, как говорит господь, без них рай был бы до безобразия однообразен. Скучен был бы рай.

Неожиданно в проеме оказался Сидоров. Он молча подошел к столу, молча забрал с него чулки, сунул их в карман и удалился.

— Ну? Разве не смешно? — спросила Ангелина.

— Пожалуй, — согласился Иван. — Только отпускайте меня уже побыстрее. У меня уши пухнут, так курить хочется!

— Увы, у нас не курят. Вот, возьмите эту коробку антеникотиновых конфет. Каждый раз вместо того, чтобы закурить, съешьте лучше антеникотиновую конфету. А теперь ступайте.

Иван вышел из помещения, пошел по тропинке и скоро перегнал Сидорова. Скоро потому, что перегруженную тележку катить было не так-то просто, и Сидоров с Прекрасной Незнакомкой упирались и кряхтели.

— Помочь? — спросил Иван.

— Без сопливых обойдемся, — сказал Сидоров.

— Я как лучше хотел, — пожал плечами Иван и с чувством исполненного долга пошел дальше.

— Без сопливых! — закричал ему вдогонку Сидоров.

Тропинка закончилась довольно широкой аллеей, по которой прохаживались или сидели на скамейках, или толкали тележки немало людей. Иван обратил внимание на разнообразие всяческих рас, а также одеяний: от древнегреческих туник до джинсов, и даже был один в одежде то ли гота, то ли эмо. Иван их не различал. Сильно хотелось курить, и Иван, предварительно сметя лепестки вишни, скатывающиеся под ладонью в розовые трубочки, сел на пустующую скамейку, чтобы съесть конфету. В

раю была весна. Цвели вишни, радостно щебетали птички, жужжали пчелы, над по-весеннему свежей зеленью травы с желтыми и кое-где уже опарашютившимися одуванчиками порхали бабочки. Но вот беда: как только Иван сел, подошла какая-то, по все вероятности, бездомная собака, наделала кучу, с сознанием исполненного долга удалилась, а кучу тут же оккупировали мухи. Крупные, с отливающими блестящим металлом спинками. Глядя с отвращением на этих чертовых мух, Иван не сразу увидел Прекрасную Незнакомку. Он заметил ее, когда та подошла довольно близко, но, увидев мух, резко изменила курс и села на скамейку напротив под столбом с громкоговорителем. На ней было цветастое старомодное платье, далеко выше бледных коленей, в руке она держала допотопную черную сумочку, но, не отнимешь, была ничего себе. Каштановые пышные волосы, кругленькое беленькое личико, пухлые губки и маленький чуть вздернутый носик, который ее, такую молоденькую, тоже только красил.

Тут из громкоговорителя полилась песня.

Эти глаза напротив,  
Чайного цвета,  
Эти глаза напротив,  
Что это, что это?  
Пусть я впадаю, пусть,  
В сентиментальность и грусть,  
Воли моей супротив,  
Эти глаза напротив.  
Вот и свела судьба,  
Вот и свела судьба,  
Вот и свела судьба нас,  
Только не подведи,  
Только не подведи,  
Только не отведи глаз.

Песня, как подумалось Ивану, была наводящей. Но это цветастое платье, эта допотопная сумочка... Разве может Прекрасная Незнакомка одеваться так безвкусно? Но, может быть, она из семидесятых годов двадцатого века? Тогда такое носили. И он решил подойти.

— Извините, но позвольте вас спросить: вы одиноки?

— Я не замужем, — ответила она.

— Тогда, может быть, это вы моя Прекрасная Незнакомка?

— Если вы не женаты, тогда, может быть, это вы мой Прекрасный Принц, а я так опрометчиво села на другую скамейку.

— Вас можно понять, люди любят эстетику, а мухи — это не эстетично.

— Мне нагадали, что мой Прекрасный Принц будет писателем. Вы писатель?

— Писатель.

— Может быть, вы и есть мой Прекрасный Принц?

— Не исключаю, — сказал Иван.

Вдруг с неба мелко закапало, и Иван поднял голову вверх. Солнце по-прежнему светило, это был слепой дождь.

— Слепой дождь, — сказал Иван.

— И ласковый. Помните, как у Веры Матвеевой? — и она вдохновенно продекламировала:

Будет ласковый дождь,  
и ветер поможет взлететь,  
и сбудется все, чего ждешь,  
и легкой будет печаль,  
потому что над миром  
будет ласковый дождь.

— Может быть, я и тупой, — сказал Иван, — но, откровенно говоря, я не знаю никакой Веры Матвеевой, хотя стихи хорошие.

Неподалеку остановился симпатяга Сидоров со своей тележкой. Пот градом катился и по его лицу и по прекрасному личику его незнакомки. Увидев Сидорова, Прекрасная Незнакомка Ивана встрепенулась и напряженно подалась вперед.

— У вас, случайно, унитаза не золотой? — спросила она.

— Фуфла не держим! — сказал Сидоров.

— А вам помощь не требуется?

— А ну-ка встань! — приказал Сидоров.

Она встала.

— А теперь повернись кругом.

Она повернулась.

— Требуется, — сказал Сидоров. — Иди сюда. Как тебя зовут?

— Таня.



— Толкай тележку, Танька! — приказал Сидоров и, обращаясь к Ивану, добавил: — Бог правду видит!

И они потолкали тележку дальше.

— В ногу стараемся, в ногу! — командовал Сидоров. — Раз, два — левой! Раз, два — левой!

Они уже ушли довольно далеко, когда Иван, грустно глядя им вслед, пробормотал:

— Бог правду видит.... Вот только неужели такая она, его правда?

Кто-то сзади положил руку Ивану на плечо, и тот обернулся. Из-за скамейки вышел молодой бородатый брюнет, одетый до щиколоток в белое одеяние и в сандалиях на загорелых ногах.

— А правда в том, — сказал он, присаживаясь рядом на скамейку, — что дух животворит, а плоть не пользуется нимало. А вы? Вместо того чтобы о душе подумать, вы думаете о Прекрасных Незнакомках.

— Все думают о Прекрасных Незнакомках.

— Вы — не все. Вы — будущий пророк. Меня папа послал вас встретить.

— Ваш папа? — спросил Иван.

— Скорее, наш папа. Вы прибыли так неожиданно, что он не может выкроить для вас ни минутки времени. У мухи на колесиках колесики все время отпадают, так он все время их прилаживает.

— Какие колесики? Какая муха?

— Да вам это не надо. Вам это будет неинтересно.

— А я-то думал, что папе, если мы, конечно, имеем в виду одно и то же лицо, после того как он всего натворил, совершенно нечего делать.

— Он в творении, всегда в творении. Разнообразном. Сегодня приделывает колесики к мухе, а завтра будет зажигать звезды.

— Вы, случайно, не Иисус? — спросил Иван.

— Да, я Иисус. И вы мой. Вас крестили.

— Я свой, — возразил Иван. — И то, что меня в детстве бабушка окрестила, еще ничего не значит. Дух, конечно, творит разумное, доброе, вечное. Но без плоти жить скучно. Пожалуйста, позовите сюда Магомеда, вы мне без надобности.

— Ваш сарказм неуместен. Именно мне папа поручил вас встретить и сказать, что именно вас святой дух решил наделить полномочиями.

— Какими полномочиями?

— Разными. Скоро вы, если это будет угодно святому духу, сможете ходить по воде яко посуху и превращать воду в вино.

— Хорошее вино? — спросил Иван.

— Первокласное.

— Тогда я, пожалуй, сопьюсь, — сказал Иван.

— Почему непременно, если есть вино, его обязательно нужно пить? Получается, что если есть красивая девушка, то с ней обязательно нужно спать? Это вредно. Потому-то и бывал иногда царь Соломон глупцом, что был пресыщенным жизнью пессимистом.

— А чем же глуп царь Соломон? — спросил Иван.

— Сказать, что детей надо бить, это не мудрость. Битье учит их изворачиваться и лгать. И сколько детских душ было покалечено из-за того, что люди безоговорочно верили в Библию, верили этой лжемудрости мудреца Соломона. А сказать, что знания умножают скорбь, все равно, что сказать: невежество приносит счастье.

— Следовало бы сказать: бывает, что знания приносят скорбь, и бывает, что невежество приносит счастье, — сказал Иван. — Все в жизни бывает. Вот что было бы неглупо.

— В вас пробивается настоящая мудрость. Но только пробивается. А впрочем, и я, будучи на Земле, не был мудрецом. Мудрец ответственен перед людьми, я же был безответственен. Сказать: пусть мертвые хоронят своих мертвецов, или: не заботьтесь о будущем, за вас позаботится отец ваш небесный — безответственно. Если вы не заботитесь о вашем будущем, то у вас его и не будет. Вот так сказать — ответственно. Надеюсь, вы не повторите моих ошибок.

— Не повторю, потому что не буду ни превращать воду в вино, ни ходить по воде. Не имею желаний. Найдите другого кандидата.

А я закроюсь в своей раковине и посмотрю, что у него из этого выйдет. А сейчас я хочу на землю.

## ГЛАВА 14

Вырвавшись из объятий небесного бытия, Иван обнаружил, что лежит на диване в незнакомой комнате. Поблизости стояла Герда и говорила по телефону:

— Извините, я во второй раз звоню. Вы сказали, что скорая не приедет, потому что у Ивана Исааковича Шевченко нет страховки. А как насчет наличных? Наличными можно заплатить?

— Вызов будет стоить триста евро, а дальнейшее лечение в зависимости от тяжести травмы.

— Не надо за наличные, — простонал Иван, поднялся, взялся руками за голову, но, ощутив что-то влажное и липкое, отнял руки. На пальцах была кровь. Он достал из кармана носовой платок, вытер кровь и, посмотрев на лежащие на столе куртку, пачку денег, паспорт и револьвер, сказал:

— Со мной все в порядке. Положи трубку, Герда.

— Извините, уже не надо, — сказала Герда и положила трубку.

В комнате, кроме Герды, находились высокий, начинающий сесть мужчина, в котором Иван узнал Дмитрия Ивановича Штерна, и седенькая старушка, чья морщинистая рука лежала на плече одетого в ночную рубашку темноволосого мальчика лет семи.

— Все, Изяслав, — сказала старушка. — Все самое страшное кончилось. Пойдем спать, а то утром тебя не добудишься.

— А дядя уже не умрет? — спросил Изяслав.

— С дядей уже все будет в порядке. Пошли.

Они вышли из комнаты.

— Напугал ты нас! — сказала Герда.

— Да, пришлось поволноваться! — сказал Дмитрий Иванович и добавил: — Простите, что посетили с визитом ваши карманы, но нам нужно было найти какое-нибудь удостоверение личности.

— На нас напали? — спросил Иван.

— На тебя, тебя ударили кастетом, — ответила Герда. — Меня они для себя угрозой не посчитали.

— И вы вдвоем меня сюда занесли? — спросил Иван. — Как вам это удалось? Во мне девяносто килограмм.

— Папа у нас сильный! — не без гордости сказала Герда. — Я только за ноги тебя держала.

— Не прибедняйся, Герда. Ты тоже сильная, — сказал Дмитрий Иванович и, посмотрев на Ивана несколько настороженно, спросил: — А зачем вам револьвер? Неужели вы не понимаете, как это опасно для простака иметь при себе оружие? Это же статья!

— Так получилось, — ответил Иван. — Это долго рассказывать.

— Не надо вопросов, папа! — сказала Герда. — Не до того сейчас. А ну-ка я еще раз на рану, как следует, посмотрю.

Она подошла и склонилась над головой Ивана.

— Большая рана? — спросил Иван.

— Да нет, рана небольшая, зашивать не нужно, наверное, но опухоль приличная. Сейчас я обработаю.

Герда вышла из комнаты и скоро вернулась с пузырьком и бинтом.

— Чуть наклони голову, вот так. Я перекисью водорода залю и перевяжу.

— Ладно, — сказал Дмитрий Иванович. — Пойду я. Вам без меня комфортнее будет.

Дмитрий Иванович вышел, а Герда принялась перевязывать голову.

— Пока я был без сознания, мне удивительно правдоподобное видение было, — сказал Иван.

— Что за видение?

— Будто я в раю.

— И как там, в раю?

— Тоже не без неприятностей.

— Неудивительно, ведь там люди, а где люди, там и неприятности.

— Я видел Иисуса Христа. Так же ясно, как я сейчас вижу тебя.

— Не закливайся. Рая нет.

— Я знаю, что нет. Но все это было так явственно...

— Выбрось из головы. Или ты верующий?

— В том-то дело, что я атеист до мозга костей. Но все это было настолько реально...

— Не закливайся. Бога нет.

Перевязав голову, Герда сказала:

— Вот и все. Не так страшно все, как казалось.

— Ну, я пойду? — Иван поднялся.

— Никуда ты не пойдешь! — возразила Герда. — После сотрясения мозга, а у тебя точно было сотрясение, тебе нужен покой.

— Знала бы ты, как мне не хочется вас стеснять...

— Знал бы ты, как мне не хочется, чтобы ты свалился где-нибудь по дороге. С такими вещами не шутят.

— Тогда я в туалет.

— Налево по коридору.

Когда Иван вернулся, Герда уже разложила диван и начала стелить постель.

— Я куртку заберу, повешу на вешалку, — сказала она. — Вот только куда деть револьвер?

— Я его под подушку пока положу. Сам не знаю, вроде не хочу ни в кого стрелять, но он мне нравится.

— Это понятно, ты мужчина. Мужчинам нравятся опасные игрушки. Ну, спокойной ночи. Нет, постой. Голова болит?

— Раскалывается, честно говоря.

Герда и вышла из комнаты на кухню. Отец был там. Герда открыла дверцу шкафчика и стала искать лекарство.

— Откуда у него столько наличных и револьвер впридачу? — спросил Дмитрий Иванович. — Он не опасный человек?

— Поверь, Люда меня с опасным не познакомила бы. Я ему доверяю. Я, пусть заочно, но уже довольно давно знаю его с положительной стороны. Он писатель. Значит, думающий человек, — роясь в шкафчике, говорила Герда.

— Думающим может быть и подлец. Да и писатель может быть подлецом.

— Он не подлец. Судя по большинству его афоризмов — он нравственный человек. Ах, вот они! — она нашла пузырьки.

— А что он написал? — поинтересовался Дмитрий Иванович.

— Небольшую книжку афоризмов и юмористических рассказов.

— Значит, начинающий?

— Начинающий.

— И хорошо пишет?

- Хорошо, поверь.  
— А ты можешь сейчас сказать хоть один его афоризм?  
— Попробую вспомнить. Вот, вспомнила: «Если кто-то вам скажет, что Толстой дурак, потому что фэнтези интересней, согласитесь. Фэнтези действительно интересней, но дурак не Толстой».  
— Что ж... Остроумно, но и только. Это еще не талант.

## ГЛАВА 14

Когда Иван проснулся, в комнате было светло. Иван сел и, подумав, взял со стола телефон и включил его. Тот тут же зазвонил. Это была мама.

— Да, мама, я слушаю, — сказал Иван.

— Привет, сынок! Я звонила тебе и на стационарный, и на смартфон, но ты отключил его. Как ты можешь, ведь у нас с отцом душа за тебя болит! Ты где? Вроде не дома?

— Я ночевал у одной девушки.

— Вчера еще у тебя не было девушки, а сегодня ты ночуешь у девушки? Остерегаться надо таких девушек!

— Тут совсем другой случай.

— Какой такой другой?

— Долго рассказывать. Короче, я не был с ней, а был у нее.

Послышался стук в дверь.

— Потом, мама, потом. Сейчас мне некогда! — Иван поспешно натянул джинсы и сказал: — Войдите.

Вошла Герда.

— Как твоя голова? — спросила она.

— Терпимо.

— Слава богу. Теперь, раз уж ты проснулся, то сделай все что нужно и присоединяйся к нам, мы скоро садимся обедать. На вот, — Герда протянула Ивану новую зубную щетку и бритвенный станок.

— Знала бы ты, как мне не хочется вас обременять!

— Знал бы ты, как нам не хочется быть негостеприимными.

Покончив с туалетом, Иван вернулся в комнату и надел рубашку и свитер. У дверей в кухню он нерешительно остановился. Из кухни звучал дребезжащий старческий голос:

— А я тебе говорю, что выходить замуж за гоя — это покупать kota в мешке! Выходить замуж надо за еврея. Это куда надежнее.

— Ты потише, бабушка, со своими расистскими воззрениями, — сказала Герда.

— Это не воззрение, это — данность. Евреи, они как породистые животные, как овчарки или сенбернары, а вот гои — как дворняги. В них всего столько намешано! Неизвестно, чего от этого месива ждать.

Иван подождал немного и открыл дверь.

— Добрый день, — сказал он.

— Добрый, добрый, — отозвались все.

— Садись вот сюда, — сказала Герда.

Иван сел и принялся за еду. Некоторое время все молча ели. Молчание нарушила старушка.

— В вас есть еврейская кровь? — спросила она. — У вас отчество Исаакович.

— Как вас зовут? — осведомился Иван.

— Изольда Самсоновна.

— Нет, Изольда Самсоновна. Просто у деда лучший друг был Исаак, в честь его отца и назвали.

— Понятно... — сказала Изольда Самсоновна. — Да вы не стесняйтесь, не стесняйтесь! Берите еще селедки. Ведь вкусные же селедки.

— Бабушка! — взмолился чуть не плача Изяслав. — Сколько тебе раз говорить, что не «селедки», а «селедка»! Сколько тебе раз говорить, что нет множественного числа у селедки!

— Не кричи на бабушку, — сказал Дмитрий Иванович.

— А что она кричит на весь двор: «Изя, иди кушать мясы, бабы зарезали селедки!».

— Даже если бабушка кричит на весь двор: «Изя, иди кушать мясы, бабы зарезали селедки», и тебе кажется, что рушится мир, пусть рушится мир, а ты иди кушать селедки.

Снова наступила молчание, и снова молчание нарушила Изольда Самсоновна:

— Быть писателем мало, надо еще зарабатывать этим на жизнь. И много зарабатывать, если жена получает гроши.

— Бабушка, ты слишком далекохватила. Ты меня уже сватаешь? — спросила Герда.

— Как раз не сватаю. Как раз наоборот. А что до сватовства, то есть у Дмитрия на работе один бухгалтер, очень симпатичная и основательная женщина.

— Бабушка, ему, то есть Ивану, не нужен бухгалтер, — сказала Герда.

— Не понравится бухгалтер, то там есть завхоз. Тоже очень симпатичная и основательная женщина.

— Ему не нужен завхоз.

— Вот ты передергиваешь, а зря. Судя по тому, что тебе рассказала твоя Люда, ему сейчас тяжело и как никогда требуется плечо, на которое можно положить голову.

— Мое плечо не подойдет?

— Твое плечо не подойдет, и не будем вдаваться в подробности почему. А впрочем, кое-что скажу. Мы, может быть,ждемся разрешения на выезд. Нам ненавистна страна, в которой элитой являются хитропуые.

— Не будем о политике, — сказал Дмитрий Иванович. — Банально, но политика, по большей части, грязь. Как ваша голова?

— Спасибо, терпимо.

— Простите, но, поскольку вы знакомый Герды, я вынужден спросить, откуда у вас столько наличных и револьвер?

— Я каким-то боком писатель, и деньги эти получил от одного человека, который представился меценатом. Для меня самого это было неожиданностью. Я и не знал, что есть такие люди.

— А револьвер?

— Купил по случаю. Я не бандит, поверьте.

— Это я понял. Но лучше вам от него избавиться.

— Я вот теперь подумал, что неразумно было его покупать. Но я как-то в раздумье. Выбрасывать — жалко. Не знаю, куда его девать.

— Берите еще селедки, — сказала Изольда Самсоновна.

— Спасибо, но я уже наелся, — положив вилку, сказал Иван.

— Папа, мы пойдем в гостиную, мне с Иваном поговорить нужно, — сказала Герда.

— Идите на здоровье.



— Можно я тебя сфотографирую? — спросил Иван, когда они зашли в комнату.

— Давай, — Герда шутливо подбоченилась.

— Я хочу вот о чем, — сказала она, когда Иван спрятал смартфон. — Отдай мне револьвер, тем более что я мастер спорта по стрельбе из пистолета.

— Прицельно выстрелить даже из револьвера большего калибра и с длинным дулом на таком расстоянии нельзя. Что уж говорить о дамском револьвере. Тут нужна винтовка с оптическим прицелом. И потом, ты думаешь, что, устранив гетмана, ты чего-то добьешься? Разве не придет другой гетман, может даже и похуже?

— Я тебе объясню. Вице-гетман, Николай Сергеевич, — тайный папин друг. И он, и еще многие в тайной оппозиции к этому строю и политике гетмана. Вот только нерешительный он. Но, если бы, положим, с гетманом что-нибудь случилось, и папа оказался рядом с Николаем Сергеевичем, мы могли бы подобрать неплохую команду для реформ. Но, конечно, прежде нужно будет установить свою собственную диктатуру и посадить всех коррупционеров и воров. В стране повальная коррупция и воровство, а суды продажны, поэтому без диктатуры — никак. И диктатором этим буду я.

— У тебя такая твердая рука?

— Да, у меня такая твердая рука.

— Я не верю в диктатуру, — сказал Иван. — Как, впрочем, не верю и в то, что можно создать более совершенный строй без более совершенного человека.

— А я — верю. Я буду править так, что люди созреют до совершенного строя.

— А возможно ли такое созревание? По-моему, ты ставишь телегу впереди лошади. Бердяев писал, что идея свободы первичнее идеи совершенства.

— Мало ли что писал Бердяев. Шекспир писал: «Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам».

— Ну что ж. Дай бог. Да, у меня еще вопрос. Твой папа пользуется таким авторитетом у народа, и гетман его терпит?

— Брехунец боится санкций. Половина его бизнеса завязана на торговле с Евросоюзом. Он и так из-за папы много по-

терял, потому что в Евросоюзе у власти много папиных друзей. Они просто могут совсем отказаться покупать его сельхозпродукцию.

— Ладно, бери револьвер, раз ты такая решительная. И сними с меня этот бинт, я его стесняюсь.

— Почему? Может быть, ты герой.

— Я не хочу быть героем. Я в раковину хочу.

## ГЛАВА 15

Иван подошел к своему подъезду, поздоровался с Полиной Васильевной, сидящей на скамейке, как вдруг голова закружилась, он пошатнулся и, благо скамейка была рядом, присел.

— Что с тобой, Ваня? Ты бледный как полотно, — сказала озабоченно Полина Васильевна.

— Голова закружилась.

— С чего бы это? Ты вроде трезвый.

— Долго рассказывать, Полина Васильевна. А впрочем, у меня было сотрясение мозга.

— Тогда тебе надо в постель. Может, тебя проводить?

— Нет, не надо.

— И все-таки я тебя провожу. Мне не трудно.

В квартире, снимая куртку, Иван снова покачнулся.

— Может, «скорую» вызвать? — спросила участливо Полина Васильевна.

— У меня нет страховки, да и чем поможет «скорая»? Единственное, что мне нужно, — это покой. Я знаю, я читал.

— Ты только не спи. Я где-то читала, что после сотрясения мозга спать нельзя.

Иван сел на диван, снял туфли и лег.

— Тебя, может, накрыть? Я вот этим пледом накрою.

— Ну, накройте, если вам это доставит удовольствие.

— Это не из-за удовольствия. Хотя, может быть, и из-за удовольствия, — накрывая Ивана пледом, говорила Полина Васильевна. — Я думаю, это, так сказать, инстинкт заботы, даже у животных он есть, даже кошки друг друга вылизывают, что уж говорить о человеке, — она посмотрела на гроб. — Давно хотела тебя спросить: чем ты так серьезно болен, а, Ваня?

— Почему вы решили, что я чем-то серьезно болен?  
— Ну как же... Этот гроб...  
— Тоска у меня была, Полина Васильевна.  
— И все?  
— И все.  
— Если я правильно тебя понимаю, ты решил покончить с собой? Да?

Иван промолчал.

— Выбрось это из головы. Подумай о своих родителях. Они все для тебя делали, даже оставили тебе квартиру в столице, а сами уехали в задрипанный Конотоп, а ты? Немедленно выбрось это из головы! Подумаешь, трагедия — жена ушла! Это — не трагедия. Говорят, что если перед тобой закрывается какая-то одна дверь, то рядом непременно открывается другая. Подумай, Ваня, разве после ухода Анастасии тебе не открылась другая дверь или даже много дверей?

— Умные вы иногда вещи говорите, Полина Васильевна.

— Иногда — да. Так что брось дурить!

— Уже бросил. Передо мной действительно открылась другая дверь. Не ругайте меня. Лучше идите, потом как-нибудь поговорим. Мне полежать надо.

— Ладно, иду.

## ГЛАВА 16

У подъезда на скамейке сидела Вера Львовна и читала потрепанную, без обложки, книгу.

— Здравствуйте, Вера Львовна, — сказала Полина Васильевна, садясь на скамейку напротив. — Хочу перед вами покаяться. Я ведь тогда, после нашего разговора, все же перечитала Шевченко и его «Катерину», в первый раз с тех пор, как окончила школу. Зря я тогда сказала, что только отсталые его читают, потому что я тоже плакала. Читала и плакала. И казалось мне тоже, что я становлюсь лучше. Так что там у вас?

— Не знаю, тут и название, и автор — все оборвано. Какой-то Антон Павлович Чех. Давайте я вам почитаю?

— Читайте. Чехи — они хорошо едят. Гашек Ярослав, например. Он смешной.

— Чех — это не национальность. Чех — это фамилия.

— Все равно читайте.

Вера Львовна пролиستала книгу.

— Вот, — сказала она. — В Москву. Написано: «В Москву», но кто-то зачеркнул «В Москву» — и сверху написал: «В Европу».

— Когда была издана эта книга? — спросила Полина Васильевна.

— В 2017 году.

— Неправильно он зачеркнул, — поморщилась Полина Васильевна.

— Что? «В Москву» было правильно?

— И «в Москву» было неправильно.

— Что же тогда правильно?

— Остаться дома было бы правильно, потому что от себя не убежишь. Но почему-то думали, что смогут убежать. Почему-то ожидали, что европейцы за нас решат наши проблемы, вроде у них своих проблем не хватает. Кричали радостно: «Мы — объединенная Европа!», но что же в итоге вышло? Европейцы подумали-подумали, повязли-повязли в нашем болоте и открестились от нас и от наших воров у власти, потому что решили, что будет выгоднее и менее хлопотно, если мы станем буферным государством.

— Вы говорите, что воры у власти. А как же гетман Брехунец? Ведь он в первую очередь у власти?

— Гетмана не трожьте, гетман — совсем другое. Вы вот говорили об авторитете: скажи «копай», и ты будешь копать, хотя он тебе и не начальник. Такой же для меня и гетман. Скажи он мне: «копай», и я буду копать, хотя он мне и не начальник. Верю я ему почему-то, уж не знаю почему. Гетман сам, может быть, вязнет в этом воровском болоте. Ну да ладно о политике, вы читайте, читайте.

Вера Львовна снова склонилась над книгой и начала: «Кто знает? А, быть может, нашу жизнь назовут высокой и вспомнят о ней с уважением...» — Вера Львовна подняла голову. — А это ведь и о нас, хоть и было написано тыщу лет назад.

— О нас с уважением? — перебила ее Полина Васильевна. — Не смешите меня! За что же нас уважать?

— Но мы же живем? — возразила Вера Львовна. — Пусть страдаем от безденежья и несправедливости, в первую очередь, от несправедливости, но живем? Уже это одно достойно уважения.

— Может быть, вы и правы, — Полина Васильевна на время призадумалась, потом повторила: — Может быть, вы и правы, что мы все-таки живем несмотря ни на что. Несмотря на несправедливость. Да вы читайте, читайте.

Вера Львовна пролистала книгу.

— Вот это особенно мне нравится, — сказала она: — «Мне кажется, нет и не может быть такого скучного и унылого города, в котором был бы не нужен умный, образованный человек...»

— Я вас перебеью, Вера Львовна, потому что все совершенно наоборот. Не нужен такой человек. Вот именно что не нужен, поэтому умные и образованные давно за границей.

— Не все. Вот вы, например, не за границей.

— Спасибо за доброе слово, Вера Львовна. Да, я умный и образованный человек, я даже пишу книгу, которая будет называться «Против постморализма». Вот только я сомневаюсь, что если ее даже издадут, то ее будут читать. Большинство, ученое на гламурных и эротических журналах, то есть постморалисты, открыв ее, скажут: «Нет, это никуда не годится, потому что это не блестит. Нет, ничего неблестящего нам не нужно, потому что, поймите же, вот-вот гнусная старость, а потом еще более гнусное разложение плоти. Успеть бы поблистать и поразвлекаться, пожить красивой жизнью, или хотя бы помечтать о красивой жизни. Той, где свой собственный остров, омываемый теплым тропическим морем, где свой собственный дворец со своим собственным дворцом, своя собственная роскошная яхта, свой собственный самолет, а вы своей скукотищей отнимаете у нас мечты и такое драгоценное время». Я их, конечно, понимаю. Жизнь действительно коротка. Но хочется, чтобы хоть кто-нибудь из них и меня понял: жизнь не только коротка, она еще и бессмысленна, если ты научился только брать, а не давать, если не возлюбил ближнего своего как самого себя. Если же ты возлюбил ближнего своего как самого себя, тебе не страшна будет смерть, ты будешь продолжать жить в своем ближнем.

— Вот вы сказали, Полина Васильевна, но как-то не так сказали. «Возлюби ближнего своего» и всю остальную мораль следовало бы говорить как-то завуалировано, так, что ее вроде и нет, но, тем не менее, она есть, — заговорила Вера Львовна. —

Надо говорить «не убий» и «не прелюбодействуй», или «возлюби ближнего своего» завуалировано. Понимаете? В лоб нельзя. А вы не умеете, чтобы не в лоб, чтобы завуалировано.

— Во всяком случае — учусь. Но это трудно. Да вы читайте, читайте. Мне интересно. Может быть, я у вашего... как вы сказали?

— А.П. Чех.

— У вашего А.П. Чеха чему-нибудь научусь. Читайте.

— «Мне кажется, нет и не может быть такого скучного и унылого города, в котором был бы не нужен умный, образованный человек. Допустим, что среди ста тысяч населения этого города, конечно, отсталого и грубого, таких, как вы, только три».

— Я снова перебую вас. Тут надо уточнить. Таких, кто не читает гламурные журналы, только три.

— Но ведь я своими глазами видела, как вы читали гламурный журнал?

— Сознаюсь, это — грех. Такой же, как и детская порнография. Нахожу, бывает, на мусорнике. Но ведь они, эти журналы, в конце концов, снова оказываются на мусорнике, где им и место. Но вы читайте, читайте!

— «Через двести, триста лет жизнь на земле будет невообразимо прекрасной, изумительной...». Вера Львовна подняла глаза от книги. — Будет, все-таки будет и в Сельхозугодии новая, счастливая жизнь! — воскликнула она.

— Вера Львовна! Через двести-триста лет — это без нас, без нас. Вы понимаете, как это грустно, что без нас? Но все равно хорошо, что вы такое читаете. Вы молодец, Вера Львовна. А ведь другие такого не читают. Оттого и грязи столько.

Вера Львовна, вдруг заметив что-то, вытянулась, взгляделась и коротко бросила:

— Федор!

Полина Васильевна обернулась и тоже взгляделась. На дереве, метров в тридцати от них, сидел Федор. В руке у него была бутылка со сделанной из тетрадного листка в клеточку этикеткой, на которой было написано: «Шнапс».

Полина Васильевна вскочила и быстро подошла к дереву.

— Ты опять залез на дерево, скотина! — закричала она.

Подошла и Вера Львовна.

— В самом деле, Федор. Это же глупо, — сказала она.

— Я не Федор, я Теодор, я — немец! — сказал Федор, потом отхлебнул из горлышка и поморщился.

— И это тоже глупо! — сказала Полина Васильевна. — Ты только по происхождению Теодор, а по жизни — самый настоящий Федька. Так что брось, Федька, шизофренией заниматься, слезай с дерева.

— Не мешай мне погружаться в область чистой мысли! — вскричал Федор. — Если я, как истинный немец, не буду погружаться в область чистой мысли, то я превращусь в таких же никчемных тупоголовых мещан, как вы!

— А без дерева и без водки ты не можешь погружаться в область чистой мысли? А, Федор? — спросила Полина Васильевна.

— Я не Федор! Я — Теодор! Я, может быть, второй Шопенгауэр!

— Шопенгауэр, насколько мне известно, по деревьям не лазил. Так что слезай, Федька. Не позорь Шопенгауэра, — сказала Полина Васильевна.

— Я не слезу, покуда вы не признаете, что я не Федор, а Теодор.

— Ладно, Федя, признаем, — сказала Полина Васильевна, — ты — Теодор.

— А ты, Львовна, признаешь?

— Признаю, Федя.

— Не Федя, а Теодор.

— Признаю, Теодор.

Федор достал из кармана крышечку, закрутил горлышко бутылки, положил бутылку в карман куртки и принялся слезать дерева. Но только он слез на расстояние, с которого можно было дотянуться до бутылки, как Полина Васильевна схватила бутылку, открыла крышечку и принялась выливать содержимое на землю.

Федор слез и, обреченно глядя на пустеющую в руке Полины Васильевны бутылку, а затем и на влажное пятно на земле, горестно произнес:

— Ну вот и пропала моя возвышенная жизнь...

— Вы слышите, Вера Львовна? И это он называет возвышенной жизнью! Как только выпил и залез на дерево, так и возвысился?

— Да, возвысился.

— И над чем же ты возвысился?

— Над тоской. Но разве вам дано это понять, убогие людищепки, — уныло глядя на мокрое пятно на земле, сказал Федор.

— Ду бист кранк, Федя. Тебя лечить надо.

— Что вы сказали? — спросила Вера Львовна.

— Я сказала, что он больной и что его лечить надо.

— Какая вы образованная женщина, Полина Васильевна!

— А толку? Эх!

## ГЛАВА 17

Иван сидел за компьютером, когда зазвонил телефон.

— Я вижу, что ты, сынок, дома, — сказала мать. — Чем занимаешься?

— Пытаюсь писать.

— Песню «Анастасия» уже не слушаешь? Пора бы тебе перестать ее слушать, только душу себе растравляешь.

— Не слушаю. Пытаюсь увлечься другой девушкой, Гердой.

— Герда — эта та девушка, у которой ты ночевал?

— Она самая.

— Ну, дай бог. Может, бросишь пить. Я понимаю, что ты переживаешь, но это не по-мужски.

— Уже бросил. Мне заказали роман.

— И приличное издательство?

— Не пойму. Что-то непонятное, но аванс дали приличный.

— Сколько дали?

— 100 тысяч евро.

— Неужели? Такие огромные деньги?! Отдай их мне, у меня целее будут.

— Могу дать только девяносто девять тысяч, потому что тысячу отдал Люде.

— Какой Люде, однокласснице?

— Ну да. Той, что в баре работает. Знала бы ты, как она меня выручала, когда душа требовала.



— Ой ли? Выручала ли? Ну да Бог с ней, с тысячей. Важно, что тебя оценили, и ты будешь, наконец, занят любимым делом, а не ящики таскать. А еще важнее в данный момент начисто забыть Анастасию.

— Герда поможет ее забыть.

— Приличная девушка?

— Приличнее некуда. Она даже не красится.

— По-твоему, это уже все?

— По-моему, это говорит о наличии мозгов.

— Не будь так строг к женским слабостям. Красиво, или, по крайней мере, не некрасиво выглядеть — это вежливость женщины по отношению к мужчине. Ладно, надо что-то на обед приготовить. Надеюсь, что теперь ты будешь умницей. Да, еще: если у вас с Гердой завяжется что-то серьезное, то приезжай с ней к нам, чтобы не ошибиться во второй раз.

— Вы что с отцом, критерий истины?

— Какой-никакой.

— Но рука у нее тяжелая.

— Как это? Она драчунья?

— Еще какая!

— Не связывайся с такой.

— Но это у нее от прямоты. Если хитрость порок, то прямота, по логике, должна быть достоинством.

— Не знаю, не знаю. Прямота бывает хуже воровства. Жизнь, она ведь штука непростая. Состоит она не из тонов, а из полутонов, оттенков и, к несчастью, всегда грязновата, как акварель, попавшая под дождь.

— Тогда я буду писать свою жизнь маслом.

— Дай бог нашему теляти.... А впрочем, я рада, что ты так воодушевился. Ну да ладно. Садись, работай. Творческий труд создал из обезьяны человека. Может, и из тебя что-нибудь выйдет. По крайней мере, ты теперь не неприкаянный. Только ты должен печататься под псевдонимом. Быть знаменитым, если такое будет, не просто некрасиво, но, по моему мнению, даже гадко. Китайцы говорят, что лучшие люди проходят незаметно. Помни это.

— Я тоже так иногда думаю. И, поверь, я не знаменитым быть хочу, я хочу себя реализовать.

— Опять что-то сюрреалистическое задумал?

— А почему бы и нет? Сюрреалист Дали переплюнул всех реалистов.

— Кто кого переплюнул — это еще как посмотреть. Кто как рассудит.

— И все же, я за сюрреализм. Реализм может вызвать слезы или смех, радость или печаль, но поразить он не может. А мой роман, если получится, будет не только вызывать смех и слезы, радость и печаль, но еще и поражать.

— На твоём сюрреалисте Сальвадоре Дали не сошелся клином белый свет, и на тебе не сойдется, потому что ты просто хвастун. Все, я вешаю трубку, настолько мне твой гонор отвратителен.

— Мама, подожди, но у любого творческого человека должен быть такой гонор. Просто он не должен его показывать. И вообще, стать совершенным человеком — это значит перестать быть писателем. Писатель должен быть наполовину подлецом. Иначе он будет наводить скуку. Да, да, мама. Быть совершенным — скучно.

— Тебе только тридцать три года, поэтому ты так говоришь. А вот будет тебе лет на тридцать побольше, может, и поймешь тогда, что быть совершенным — самое большое удовольствие. Ты сможешь получать куда большее эстетическое наслаждение, находить его во всем и этим радоваться жизни. А пока порадуй мать хотя бы скромностью. Сказать, что твой роман потрясет мир — это нескромность, а лучшие люди — они без гонора, они как мышки, только шуршат. И чем тише человек шуршит — тем человек и лучше. Человек должен бежать от славы, как от чумы, а ты к ней, как не оправдывайся, а стремишься.

— А если я хочу поражать не ради славы, а ради денег?

— Это уже менее безнравственно, как ни странно. Но все равно, хочешь больше игрушек купить?

— Мама, да все мы дети. Это — данность. Даже в 80 лет люди — дети, а мир — это огромный детсад. Вот только в детсаду дети находятся под присмотром воспитателей, а мир ни под чьим присмотром не находится.

— Ты когда-то заикался о боге.

— Да это так, мечты...

— Какие мечты?

— В первую очередь, мечты о справедливости и бессмертии.

— Да я, откровенно говоря, не против идеи бога. Бог все же делает многих — я себя к их числу не отношу — более нравственными.

— Ты права. Многие считают бога образцом нравственности, но бог, если он есть, — безнравственен. Но не со зла. Должность у него такая, безнравственная. А нравственность — это уже дело сугубо человеческое, это он целиком отдал нам. Судите, дескать, вы моя совесть, правда нечистая, как акварель, попавшая под дождь, но у меня и такой нет.

— Но бога нет. Люди — вот мозг и сердце вселенной. Да, вот еще. Когда я была в психбольнице у Магдалены, она жаловалась, что ты к ней не ходишь. И меня это возмущает. Как ты можешь забывать, что у тебя есть сестра? Почаще надо ее проведывать и приносить передачи. Там же кормят-то неважно. Нам с отцом не так-то просто ездить из Конотопа. Ну да ладно, пожурила я тебя, а теперь пойду отцу обед готовить.

— Мама, подожди. А ты хотела бы, чтоб бог все-таки был?

— Только добрый.

— Конечно, добрый. Хотела бы?

— Эх, Ваня! Да кто ж не хотел бы?! Я, честно тебе скажу, всю жизнь пыталась поверить в бога. Но — нет, не получается. Может быть, это особый талант — верить в мифы и сказки как в действительное. Да, наверное, это можно назвать талантом. У меня такого таланта нет, и с этим ничего уже не поделаешь. Ну да ладно, пойду обед готовить.

## ГЛАВА 18

Гремел гром, и стеклянный дворец господина весь изнутри полихал вспышками молний, резким белым светом озарявшими вишневыми садами и запруженную людьми площадь перед дворцом. Кто бил лбом поклоны, кто неистово крестился, а кто бил поклоны и неистово крестился, кто-то стоял на коленях, и на всех лицах было одно и то же выражение: страх.

Над всей толпой, на ступеньках мраморной лестницы, ведущей к входу во дворец, возвышалась коренастая фигура Си-

дорова. На нем было черное монашеское облачение, поверх которого на шее висели огромных размеров крест, звезда Давида и полумесяц.

— Кайтесь, кайтесь! — в перерывах между ударами грома кричал в микрофон Сидоров и потрясал руками.

— Каемся, каемся! — гудела толпа.

— А теперь повторяйте за мной: «Никто не приходит к богу без Сидорова! Нет бога без Сидорова!».

— Нет бога без Сидорова! — гудела толпа.

По вишневой аллее по направлению к дворцу, поглядывая на толпу, шел Заратуштра и разговаривал по телефону.

— Ставь на темную лошадку, — говорил он.

— Темная Лошадка в бегах не участвует, — говорили ему. — Есть Победитель, есть Стремительный, есть Неудержимый, да много еще есть, но такой лошади, как Темная Лошадка, нет.

— Ты что, тупой? — возмущался Заратуштра. — Я имею в виду, ставь на того коня, который менее всех известен, но, по видимому, не без потенциала.

— По-моему, лучше ставить на Победителя, он фаворит.

— На фаворита неинтересно, да и выигрыш будет минимален. Ставь на темную лошадку. Есть такая?

— Есть Толстозадый. Ничего о нем неизвестно, в первый раз участвует.

— Ну и кличка! Но он, надеюсь, на деле не толстозадый?

— На деле наоборот, поджарый. И выглядит бойцом. Но все равно я советую на Победителя. Так вернее.

— У тебя только выигрыш в голове, а как же сама игра? Как же азарт игры? И хватит уже меня уговаривать. Мое последнее слово: ставь на Толстозадого.

Заратуштра выключил телефон и очутился перед толпой, продрасться через которую не представлялось возможным. Снова раздался голос Сидорова:

— Нет бога без Сидорова! — кричал он в микрофон.

— Что за чушь здесь происходит? — озадачился Заратуштра. — Какой еще Сидоров?

— Пророк, — отвечал ему какой-то мужчина в белом мусульманском одеянии. — Обещает спасти нас от божьего гнева.

— Бог не гневается, — сказал Заратуштра. — Он слишком мудр, чтобы гневаться.

Дворец снова озарился вспышками молний, и загромыхал гром.

— По-вашему, это не гнев? — возразил мужчина в мусульманской одежде.

— Молнии — это не гнев, молнии — это электричество.

— Тсс, — зашипели на говорящих, и они замолчали.

— А молиться надо так, — вещал Сидоров. — «Сидоров, сущий на небесах, воссядь одесную господа, чтобы пришло царствие его, чтобы была воля его, яко на небеси, так и на земли. Чтoб хлеб наш насущный дал нам господь, чтобы простил нам долги наши, яко же и мы прощаем должникам нашим, чтобы не ввел нас во искушение и избавил нас от Ботиночкина».

— Да это заговор! — прошептал Заратуштра.

Мусульманин обернулся и подозрительно посмотрел на Заратуштру.

— Уж не ты ли пресловутый Ботиночкин? — спросил он.

— Я Сапожков, — сказал Заратуштра.

— Он, он, — поддержал подозреваемого еще один. — Его козлиная борода! Бей его, ребята!

— Я Сапожков, — повторил Заратуштра и поспешил ретироваться.

Оказавшись на безопасном расстоянии, он свернул на какую-то тропинку, которая вывела его к поросшему травой и вишневыми деревьями бункеру с заржавленной железной дверью, на которой с трудом, но различалась надпись красной краской: «Антианнигиляционное убежище». Найдя над дверью заржавленный ключ, Ботиночкин открыл скрежещущую дверь, спустился по лестнице, прошел мимо многочисленных деревянных нар, открыл еще одну дверь и очутился в темном чулане, мрак которого едва разгонял желтый свет пыльной лампочки ватт в сорок. Чулан был полон разного рода старьем: допотопный велосипед с огромным передним колесом и крошечным задним, старые лыжи, заржавленные коньки, какие-то первобытные весы с гирями, искусственная елка и прочее, и прочее, что давно следовало бы сдать в музей или выбросить на помойку. Споткнувшись, Заратуштра чертыхнулся:

— Чертов Плюшкин, понабросал здесь!

— Я все слышу! — донесся до него трубный глас божий. — Только я не Плюшкин, потому что это материал для творчества.

— Да какое это может быть творчество из хлама! — крикнул Заратуштра.

— Современное творчество.

Пройдя через чулан, Заратуштра поднялся по ступенькам, открыл еще одну дверь и оказался в лаборатории. Господь сидел в золотом кресле и метал молнии в бассейн.

— Что вы делаете?! — крикнул Заратуштра.

— Да вот, исследую, может ли благодаря электричеству возникнуть жизнь в первобытном бульоне. Не мешай.

— А вы знаете, что из-за ваших опытов с молниями на улице делается? — спросил Заратуштра.

— Ничего особенного там не делается, — сказал господь.

— Да это же заговор! Какой-то Сидоров собрал толпу и провозгласил себя пророком!

— Да черт с ним, с Сидоровым! Пусть себе забавляется! Я противник безоблачного счастья.

— Но он хочет меня, вашего советника, отстранить от власти!

— А тебя давно пора отстранить. Вот ты объясни мне, как так получилось, что ты на глазах бандитов передал Ивану такую крупную сумму? Чем ты думал?

— Было, каюсь... — согласился Заратуштра с этим упреком.

— И где ты был, когда эти же бандиты чуть его не убили? Опять в своем сумасшедшем доме? Там тебе что, медом намазано?

— Да. Медом намазано. Если бы вы знали, какие там интересные собеседники! Кроме того, мне известно, что второй самолетик исчез на территории сумасшедшего дома. А я как раз в нем лежу. Вот такое странное совпадение. Думаю — это все святой дух, и он ведет какую-то свою игру.

— И по-моему тоже, святой дух ведет какую-то свою игру. По-моему, он хочет нас запутать. Только зачем ему это? — проговорил господь.

— Игра. Если бы вы знали, какой захватывающей может быть игра!

— Даже в кошки-мышки? — спросил господь.

— Даже в кошки-мышки, — ответил Заратуштра.

— А как это, в кошки-мышки? Никогда не играл.

— Я вас научу.

## ГЛАВА 19

Сундук и Китаец пили пиво в дешевой забегаловке.

— Вот сучка! Вот сучка гребаная! — Сундук, рослый круглолицый блондин лет двадцати пяти, трогал пальцами красную с синевой опухоль, начинающуюся у спинки носа и застилающую глаз так, что тот выглядел узкой щелочкой.

— Я бы, бля, плеснул ей в морду кислоты, — прихлебнув пива, сказал Китаец, узколиций тонкокостный парень со слегка азиатскими глазами и с татуировкой сердца, пронзенного стрелой, на тыльной стороне ладони и надписью: «Люблю тебя одну очень сильно».

— Стремно, Китаец. Можно самому облиться, — сказал Сундук.

— А может, ее вообще замочить? Жаль, что у нас нет ствола. Хотя, можно обойтись и без ствола. Если, бля, у нас будут бейсбольные биты, то никакое карате этой гребаной жидовке не поможет, — злобно произнес Китаец.

— Откуда ты знаешь, что она жидовка? — спросил Сундук.

— Я, Сундук, их за версту узнаю.

— По мне — брюнетка да и все.

— Брюнетка брюнетке рознь. Я тоже, бля, почти брюнет. И потом, ее Герда зовут. Типично жидовское погоняло. Ну что, еще по пиву?

— Я пустой, — сказал Сундук. — Эх! Какой из-за этой сучки куш упустили!

— Замочить бы ее, гадину. И труп, бля, надежно заныкать. Когда трупа нет, мусора хрен нападут на след.

— Закопать, что ли?

— Можно закопать, а можно утопить. Привязать, бля, что-нибудь тяжелое, например, бетонные блоки, у брата есть такие, что-то вроде больших кирпичей. Живьем, бля, утопить. Я возьму у брата фургон, возьму его права, ведь мы с ним, бля, почти на одно лицо. Да и электрошокер возьму.

— Стремно, Китаец, — сказал Сундук.

— Не ссы, Сундук. Если все как следует обсосать, все пройдет как по маслу.

— Все равно стремно, — сказал Сундук.

— Но жить, бля, тоже стремно. В любую минуту в Землю может врезаться метеорит, и все мы, бля, вымрем, как динозавры. Так что давай, бля, спешить жить, — он усмехнулся. — А ведь мы сейчас что-то мудрое, что-то вечное, что-то, бля, философское выдали. «Спешите жить» — так может сказать только философ.

## ГЛАВА 20

Иван сидел за компьютером. На экране в качестве заголовка было написано: «Тоска».

— Черт! — выругался он, вставая. — Разве годится такое название? Разве речь в романе будет только о ней? Черт! Черт! Ну? Где твоя фантазия?

Он подошел к окну.

Открывавшийся вид к лирике не располагал. Серое, без окон здание Государственного архива на две трети скрывало площадь Первого Великого Гетмана. Была видна как бы осевшая, грубая гранитная фигура гетмана, но постамента, к которому возлагались цветы, видно уже не было.

— Авантюристка, — сказал Иван, глядя в окно. — А может, и не авантюристка. Может, герой. Ведь задумала она героическое. Говорят, что нет героев без зрителей. Оказывается, что есть.

Он вернулся к письменному столу, взял и включил смартфон. На экране возникла Герда. Задорно подбоченившаяся.

— Красавица, не отнимешь. Но нельзя ее пускать себе в сердце. Разве я не говорил себе, что это великая мудрость — никого не любить? Разве не убедил себя в этом? А может, я просто трус? Обыкновенный трус? Может, я как та кошка, которая обожглась на горячей печи, а теперь боится сесть даже на холодную?

Он снова сел за компьютер, убрал название «Тоска», написал «Обыкновенный трус», снова встал и заходил по комнате.

— Только что это я только одного себя унижаю? Разве я один такой? Не один. Поэтому тут надо, как в ботанике. Как, например, «хвощ полевой обыкновенный». То есть не «человек разумный», а «трус обыкновенный». Ведь не только я прохожу мимо, когда сильный обижает слабого. Многие проходят мимо, предпочитая не связываться, многие трусы обыкновенные. Но это, наверное, не о Герде. Герда, наверное, не прошла бы.



Он снова взял телефон и набрал номер.

— Алло? — слышалось в трубке.

— Это ты, Герда?

— Я.

— Мы не могли бы сегодня встретиться?

— Я сейчас на работе.

— Я знаю. Давай я подойду к закрытию?

Послышался легкий смешок.

— Ты чему смеешься?

— Тому, что ты не играешь.

— В каком смысле?

— Всем известно, что, чтобы в себя влюбить, нужно после знакомства не давать о себе знать четыре дня. Нужно дать волю воображению жертвы. Нужно подождать. А ты не ждешь. Значит, ты не играешь чужими чувствами.

— Это хорошо или плохо?

— По мне — хорошо. Я люблю людей, которые не играют чужими чувствами. Я люблю искренних людей.

— Ну, не такой уж я искренний.

— В меру искренних. Всё — в меру.

Когда Иван подошел к бару, за стеклянной дверью уже висела табличка «Закрыто». Он постучал, и Герда почти тут же открыла.

— Привет, — сказал Иван. — Прости, что без цветов, но уже поздно, все закрыто.

— Ничего. Я и без цветов рада тебя видеть.

— Давай я помогу тебе убраться?

— Уже убралась. Люда разрешила пораньше закрыться.

— Может, я тороплю события, но очень хочется, чтобы вы поскорее сошлись поближе, — улыбалась Люда, надевая куртку. — Жаль, что нам в разные стороны. А может, и не жаль.

Все трое вышли на улицу.

— А ты уже не в воду опущенный! — весело сказала Люда. — Я же говорила, что клин клином вышибают, — она похлопала Ивана по плечу и зацокала в противоположную сторону.

— Смотри, какая она молодец! — сказала Герда. — Совсем не комплексует по поводу своей полноты. Часто бывает совсем не так. Я думаю, что она, несмотря на полноту, привлекательна для мужчин, а?

— Привлекательная, пожалуй. Она хоть и полная, но милая. Как-то по-особому милая. А, кроме того, она веселая, а веселость красит человека, даже если он урод. А что насчет комплексов, то их у разумного человека быть не должно, все люди расположены по горизонтали, — сказал Иван. — Ты сама говорила.

— Не все. Есть исключения. Есть сверхчеловеки.

— Ты знаешь хоть одного?

— Знаю. Это я.

— Ты не в меру откровенна.

— А может, я сказала так в шутку.

— Мне почему-то кажется, что не в шутку.

— Хорошо, не в шутку, ну и что?

— Значит, ты ради великой цели пожертвуешь жизнью невинного дитяти? Значит, цель оправдывает средства? По-моему, Ницше на тебя пагубно повлиял.

— Я еще до того как читала Ницше и Достоевского, над всем этим задумывалась. Подумать только, больше тысячи лет назад был задан вопрос о цене слезинки невинного ребенка, а ответа так и нет.

— Ответ есть, — возразил Иван.

— Для меня нет ответа. Я колеблюсь.

— Раз ты колеблешься, значит, ты не сверхчеловек.

— Да что это мы с тобой опять за старое? Давай не философствовать. Посмотри, какой сегодня чудесный теплый вечер! Так что лучше поговорим о погоде. Скажи: «А погоды какие нынче чудные стоят!».

— А погоды какие нынче чудные стоят, — повторил Иван.

— Ну вот. Совсем другое дело! Или это: Я пришел к тебе с приветом, рассказать, что солнце встало, что оно каким-то цветом где-то там затрепетало. Ну? Повторяй!

— Не буду.

— Почему?

— Не смешно.

— А, по-моему, — смешно.

— У нас разница в возрасте. Мне тридцать три. В таком возрасте люди уже становятся менее смешливыми.

— Не пугай меня своим возрастом. Я не боюсь.

— И часто серьезнее относятся к отношениям между людьми.

— Ты немножко старомоден. Ты мне мою бабушку напоминаешь.

— Если я напоминаю бабушку, значит я не немножко старомоден. Но какой уж есть.

— Не переживай. Мне нравится. Поэтому давай дружить.

— Ты это серьезно?

— Вполне. Дружба может быть вечной, а любовь — почти никогда. Если, конечно, она не становится любовью-дружбой через черточку.

— Я так и знал, что тебе не подхожу, — помрачнел почему-то Иван.

— Что? Испугался? Да пошутила я, пошутила!

— Я, кажется, понял. Ты обыкновенная кокетка.

— Я не обыкновенная кокетка. В глубине души я всегда серьезна. Я умею любить. Я любила.

— Своего мужа?

— Да. Но он оказался ветреным, мягко выражаясь.

— Да, такого человека трудно разлюбить. По опыту знаю. Он тебя бросил или ты его?

— Я его.

— Ты очень сильная.

— Я ведь сверхчеловек. Я не имею права на слабость.

— Если приходится говорить себе, что не имеешь права на слабость, значит ты не сверхчеловек, а просто сильный человек. Сверхчеловек не имеет слабостей. Он как робот. В моем представлении в нем как бы программа заложена. Если, конечно, он вообще существует в природе. И, ты знаешь, мне как-то странно, что ты так ценишь Ницше. Я бы на твоём месте его не любил, ведь он был антисемитом.

— Ты путаешь Ницше с Гитлером. Ницше наоборот говорил о немцах как о чувственных любителях поохотиться и выпить пивка, и что им далеко до филигранной утонченно-

сти раввинского ума. Разве антисемит так скажет? Да и напал он не на иудаизм, а на христианство. Иудаизм же он презнонил.

— Ну — не знаю, раз так, — сказал Иван. — Я Ницше не читал. Я о нем только понаслышке, по цитатам да выдержкам. Сознаюсь, в Ницше я невежда.

— Все мы невежды, только каждый в разном и в разной степени.

— Хочешь меня подбодрить? Дескать, не переживай, Иван, не такой уж ты дурак?

— Нет, я вполне искренне. А даже если и так, если чтобы подбодрить, что тут плохого?

— Ты не сверхчеловек, потому что чувствуешь людей. Сверхчеловеку человеческое было бы чуждо. Разве не так?

— Дай подумать.

— Некоторое время шли молча. Иван все поглядывал на сосредоточенную Герду, потом зашел вперед, так что оба очутились лицом к лицу, обнял ее, но тут же разжал объятия.

— Что это было? — спросила Герда.

— Это была благодарность за то, что ты позавчера позволила себя проводить. Я бы на твоём месте не хотел бы быть попутчиком человека с таким жалким лицом, какое было у меня позавчера.

— Я тебя понимала. Я, когда развелась, тоже ходила невеселая. Кроме того, я знала тебя по юмористическим рассказам и афоризмам. По-моему, они, а не постное лицо, твоя суть.

— Думаешь, у меня есть будущее?

— Думаю.

Иван хотел отступить в сторону и чуть не упал.

— Черт! Шнурок развязался! Ты иди, я тебя догоню. Я быстро.

Герда вступила в темноту подворотни, и в этой темноте проявились две темные мужские фигуры с бейсбольными битами в руках. Один из них замахнулся битой, но Герда нырнула под удар, взвалила нападавшего себе на спину и сбросила на асфальт. Но довести прием до конца и заняться вторым, пониже ростом и более юрким, у Герды не хватило времени. Тот успел так основательно приложиться Герде по почке, что она вскрикнула. По-

следнее, что она запомнила, была резкая парализующая боль, но уже не от почки, от чего-то другого, крик: «Давай хлороформ!», — потом резкий специфический запах — и все. Тьма.

Иван бросился на крики, но, получив удар битой в солнечное сплетение, согнулся, и тут же его тоже парализовало током. Последнее, что он почувствовал, был запах хлороформа.

## ГЛАВА 21

— Да понимаю я христианство, понимаю! — пылко восклицал Озабоченный. — Я даже готов его ну почти что всей душой принять! Мне нравится и «Возлюби ближнего, как самого себя», и то, что бог нас любит. Я одного не понимаю, как можно игнорировать инстинкт продолжения рода! Как можно отрицать плоть! Ведь это все равно, что учить крокодила хорошим манерам! Плоть, как и крокодил, без мозгов!

— Современное христианство уже не отрицает плоть. Оно сильно изменилось за три тысячи лет, с того времени, когда со дня на день ожидалось второе пришествие. Именно потому, что со дня на день ожидалось второе пришествие, чтобы, якобы встретить его безгрешными, отрицалась плоть, — заметил Философ. — Да, Заратуштра?

— Верно, — Заратуштра оторвал глаза от газеты. — Но я вот что скажу: тебя, Озабоченный, определенно надо познакомить с Сонечкой Мармеладовой.

— Называть нашу Магдаленку Сонечкой Мармеладовой — это кощунство! — воскликнул Философ. — Это все равно, что называть Христа бабником. Сонечка Мармеладова не была шлюхой, да еще такой отъявленной. Сонечка Мармеладова кормила семью, потому что ее отец, алкоголик, все пропивал. Сонечка была святой. А наша Магдаленка занимается этим из-за ненасытности.

— А это в христианстве, да и в любой религии, — грех, — сказал Заратуштра.

— Я понимаю, что это грех, — согласился Озабоченный. — Но я не понимаю, почему именно это считается грехом. Что тут плохого, если задуматься? Что плохого, если человек доставляет себе и другим удовольствие? Почему в Древнем Израиле побива-

ли камнями за прелюбодеяние, но не побивали за проституцию? Значит, нужна была и им проституция? Значит, не такой уж это грех? Ты подумай над этим, Философ.

— Замолчи, ты говоришь такие вещи, за которые тебя так и хочется сжечь на костре! — воскликнул Философ.

— Ты, между прочим, претендуешь называться философом, вот и объясняй, а не сжигай на костре, — сказал Озабоченный.

— Не знаю, как объяснить. Знаю только, что я ее боюсь, — сказал Философ. — Меня, например, как хотела взять? Вытащила из кармана презерватив и манит меня им, манит.

— Ну а ты? — спросил Озабоченный.

— Да я просто испугался!

— Я бы не испугался! — сказал Озабоченный.

— Потому я тебе, величайшему герою, и говорю: запишись у медсестры ходить за едой, — сказал Заратуштра.

— А если она кого-нибудь другого выберет? Я и прыщавый, и горбатый. Урод я.

— А ты тоже возьми презерватив и помани ее, — сказал Художник.

— Не говорите такие уродливые вещи, коробит! — крикнул Давид Давидович.

— Такова проза жизни. Она и уродлива тоже, это в стихах все красиво. Хотя в принципе — то же самое, — сказал Заратуштра и процитировал:

Я ошибся, кусты этих чащ  
Не плющом перевиты, а хмелем.  
Ну — так лучше давай с тобой плащ  
В ширину под собой расстелим.

Так говорит Пастернак. Не коробит?

— От любви не коробит, — сказал Философ.

— А иного, может быть, и от Пастернака коробит, — сказал Заратуштра. — Для ханжи, может быть, и «свеча горела на столе, свеча горела» — порнография, и ее нужно запретить. На деле же в мире мало вещей, которые категорически нужно запретить. Ну, разве что детскую порнографию. Вы отстали от жизни. Я это вам говорю, Философу и Давид Давидовичу. Доказано, что мир больше выигрывает от позволения, чем от запрещения. Пример то-

му — Единый Англосаксонский Союз. В нем почти все позволено, и он процветает. Англосаксонский Союз и есть пока что мера всех вещей. Да и Европа тоже.

— Мера всех вещей — Бог, а не Америка или Европа, — сказал Философ. — Только я его еще не открыл.

— Нет, пожалуй, не Америка мера всех вещей, а человеческая совокупность, — поправился Заратуштра. — Только нельзя ждать от нее, чтобы она сразу все отмеряла, она отмеряет постепенно. Тезис — антитезис — синтез.

— Санитар! — донесся старческий женский крик. — Ты почему позволяешь этим идиотам шляться по коридору!? Ну-ка загони их в палаты!

— А вот еще одна уродливая сторона жизни, — заметил Заратуштра.

— И это психиатр, долженствующий быть целителем душ! — воскликнул Озабоченный.

— Ничего, ей, наверное, уже скоро на пенсию, — сказал Давид Давидович.

— Да она уже на пенсии, но все же никак не может не калечить людей! — еще более возвысил голос Озабоченный.

— При коммунизме такого не было!

— Ради Бога, Давид Давидыч, не надо про коммунизм, а то опять поссоримся! — просительно, с надрывом произнес Озабоченный.

— А что такое чванство? — спросил Петя. — Вот тут, в газете, написано слово «чванство».

— Это, Петя, высокомерие, с которым чиновники относятся к людям в капиталистических странах, — пояснил Давид Давидович.

— Ну вот, опять! — воскликнул Озабоченный.

— Давно бы пора тебе смириться, — сказал Заратуштра. — Тем более что Давид Давидыч — хороший человек. А ты сам говорил, что главное — чтобы человек был хорошим, а не его политические воззрения.

— Обход, обход! — донеслось из коридора. — Все по палатам!

— А у тебя кто лечащий врач? — спросил Философ Петю Нирыбу.

— Не знаю, как ее зовут. Та, что кричала: «Загони идиотов в палаты!».

— Маргарита Васильевна, — сказал Философ. — Не повезло тебе. Галоперидол колют?

— Не знаю.

— А аминазин?

— Тоже не знаю.

— Хорошо, что у нас Сергей Викторович врач, — сказал Озабоченный. — А то бы эта дура всем нам либо галоперидол, либо аминазин, либо все вместе, коктейль. А впрочем, лишь бы корректор давали. Он снимает побочные действия. Если бы ему давали галоперидол и аминазин, а корректор не давали, он бы уже на стену лез, — сказал Озабоченный.

— Не дают ему ни галоперидол, ни аминазин, я видел, — сказал Художник.

— Редкость для этой суки, — выругался Озабоченный.

— Не ругайте врачей, — почему-то прошептал Леня-барabanщик. — Они все слышат. Видите эти микрофоны на потолке? Через них они все и слышат.

— Эх ты! — сказал Озабоченный. — Да что там! Барабанщик — он и есть барабанщик! Какие микрофоны! Это пожарная сигнализация!

— А может, и вправду, микрофоны? — предположил Философ. — Еще с советских времен остались, чтобы подслушивать разговоры диссидентов.

— И ты туда же, Философ? Ну, ты меня удивляешь! — сказал Озабоченный.

— А откуда же тогда Маргарита Васильевна знает все наши прозвища и обращается не по фамилии, а по прозвищу? Значит, где-то есть микрофоны? Просто они спрятаны. В стены замурованы, наверное, — предположил Философ.

## ГЛАВА 22

По темной, уже пустынной в это время улице ехал белый фургон.

— Как ты думаешь, мы хорошо их связали, не развяжутся? — тревожился Сундук.



— Это, бля, от веревок можно освободиться, а от липкой ленты — никогда, — сказал сидевший за рулем Китаец.

— Ну, может, все же как-нибудь развяжутся, — продолжал тревожиться Сундук.

— Стремный ты какой-то, — сказал Китаец.

— А тебе не стремно? А если, бля, патруль нас остановит? Рисуем мы, Сеня! Ох как рискуем!

— Кто не рискует... Сам знаешь.

Позади послышался вой полицейской сирены.

— Ну вот ты и накаркал, придурок! Так, я спокоен, я совершенно спокоен. Спокойненько себе еду на дачу, — бормотал Китаец, тормозя.

Позади остановилась патрульная машина, из нее вышел полицейский и подошел со стороны водителя.

— Ваши права.

Китаец протянул права брата. Полицейский посмотрел на права, потом на Китайца, посветил фонариком на Сундука и приказал открыть фургон.

— Да там ничего нет, — стараясь не выдать нервного напряжения, сказал Китаец. — Так, всякое барахло для дачи.

— Откройте фургон, — повторил полицейский.

— Да там ничего такого нет, — снова сказал Китаец.

— Откройте фургон, — не отставал полицейский.

Китаец, от страха испытывая внутреннюю дрожь, вылез из машины и вместе с полицейским подошел к задней двери машины. Но только он взялся за ручку двери, как мимо пронесся белый БМВ.

— Белый БМВ! — закричал из патрульной машины другой полицейский. — Нам ориентировку дали на белый БМВ, а не на Мерседес!

Полицейский быстро отдал Китайцу права, вернулся к патрульной машине, и скоро она помчалась следом за белым БМВ.

— Уф... пронесло, — выдохнул Китаец, садясь в машину.

— Пронесло, — вытирая тыльной стороной ладони пот со лба, сказал Сундук. — А что было бы, если бы они стали стучать?

— Да спят они еще!

— А долго хлороформ держит?

— Точно не знаю, бля, но долго, раз операции под ним проводят.

Иван, связанный по рукам и ногам липкой лентой, и с ней же на рту, пришел в себя и огляделся. В жиденьком свете лампы было видно, что рядом сидит Заратуштра. Справа от Ивана, тоже связанная, лежала Герда.

— А прохладный в этом году май выдался, — сказал Заратуштра.

— Ммы, ммы... — промычал Иван сквозь липкую ленту.

— В прошлом году в это время уже тепло было, уже купались, — продолжал измываться Заратуштра.

— Ммы, ммы... — снова промычал Иван.

— А впрочем, может быть, я что-то путаю. Может, это было в Монте-Карло. Ну что же вы молчите? Я из кожи вон лезу, пытаюсь вести светскую беседу по-английски, то есть ни о чем, чтобы никого не обидеть, а он — ни гугу. Где ваша вежливость? Спросили бы: как вам сегодняшняя погода? Неужели это так трудно?

— Ммы. Ммы... — снова промычал Иван.

— Ах, простите. Как я сразу не понял, что вам говорить затруднительно.

Он нагнулся и сорвал липкую ленту с губ Ивана.

— Помогите развязать руки, — сказал Иван. — Если вы только мне не враг.

— Я вам не враг, — разрезав перочинным ножиком ленту, обмотанную вокруг запястий Ивана, сказал Заратуштра. — Вы сами себе враг. Когда один клин вышибаешь другим клином, все равно остаешься с клином. Нет, никогда вы не станете мудрецом.

Он отдал ножик Ивану.

Тот сорвал липкую ленту со рта Герды и разрезал ленту на запястьях. Герда зашевелилась.

— Где моя сумочка? — спросила она.

— Наверное, под тобой, раз у тебя ее ремешок на плече. А где Ботиночкин?

— Какой Ботиночкин?

— Наверное, умудрился выскочить через боковую дверь... — сказал Иван.

— Какой Ботиночкин? — снова спросила Герда.

— Меценат.

## ГЛАВА 23

Через некоторое время Китаец свернул на грунтовую дорогу, ведущую к реке, и чуть не доезжая до обрыва, остановился. Друзья вышли и подошли к задней двери фургона.

— Вовремя нам это козел подвернулся. Теперь, когда у нас есть его паспорт с адресом и ключи от квартиры, будем надеяться, что те деньги у него дома, — открывая двери, проговорил Китаец.

В свете луны и жиденьком свете лампы, освещавшей внутренность фургона, было видно, что, хотя ноги пленников были стянуты липкой лентой, руки и рты их оказались свободны.

— Ты смотри, бля, — удивился Китаец, посветив еще и мощным фонарем. — Как им это удалось?

— Отпустите нас, пожалуйста! — жалобно заговорила Герда. — Ну пожалуйста! Мы никому не скажем! Ну пожалуйста!

— Нет, коза драная. У нас, бля, другие планы. Мы тебя сначала изнасилуем, а потом утопим обоих в реке. Тут вас не найдут, тут больше пятнадцати метров глубина. Тяни ее сюда, Сундук.

— Ну — это все вряд ли! — уже весело проговорила Герда, резко выдернула из-за спины револьвер и сделала два выстрела. Друзья застонали и, схватившись за животы, повалились на землю.

— Давай, быстрее освобождай мне ноги! — приказала Герда Ивану.

Пока Иван освобождал Герде ноги, а бандиты, обливаясь кровью, корчились от боли на земле, Герда ядовито проговаривала:

— Поторопились вы на радостях, поторопились. Спешка фраеров сгубила. Не потрудились ко мне в сумочку заглянуть.

Она вылезла из фургона, встала возле поверженных врагов и пнула ногой Китайцу в голову.

— Не бей их, — сказал Иван. — Это не по-сверхчеловечески. Герда посерьезнела.

— А и впрямь не по-сверхчеловечески, — сказала она. — Я сама себя унижаю. Прочь эмоции, если ты сверхчеловек! Хочешь пристрелить кого-нибудь из этих гадов? — она протянула Ивану револьвер.

— Нет, Герда.

— А мне очень хочется.

Она наклонилась, хладнокровно выстрелила каждому в голову и положила револьвер в сумочку.

— Теперь надо их обыскать и забрать телефоны, чтобы не было сигнала. Нет, раздеться надо.

Зазвонил смартфон, и Герда вынула его из сумочки.

— Ничего не случилось, — сказала она. — Просто сегодня я переночую у Ивана. Не надо нравочений... Потом поговорим.

— А теперь давай раздемся, — сказала Герда, пряча смартфон в сумочку.

— Зачем? — спросил Иван.

— Чтобы не испачкаться их кровью, когда будем их в фургон загружать.

— Ты хочешь утопить их вместе с машиной? Я к тому, что там два бетонных блока есть в багажнике.

— Если с машиной, то мы не оставим никаких следов.

— А и вправду, — согласился Иван.

Оба стали раздеваться. И, к удивлению Ивана, Герда сняла и трусики.

— И ты снимай, — сказала она. — Или стесняешься? Если стесняешься, то представь себе, что ты нудист.

— Сейчас не до стеснительности, — сказал Иван и, помедлив, начал все же снимать трусы.

Герда тем временем подобрала фонарь и забрала у мертвых смартфоны. Смартфоны она раскурочила перочинным ножиком, вынула аккумуляторы и бросила все в воду.

Худенького Сеню удалось затащить в машину сравнительно легко, но с более крупным Гошей пришлось повозиться. Наконец справились и с ним, и Герда села за руль. Иван, чтобы смыть кровь, спустился к воде правее от обрыва, где берег был покатым, а Герда, развернувшись, отъехала от реки метров на сто, снова развернулась, и, набирая все большую и большую скорость, помчалась к обрыву. Вот колеса оторвались от земли, машина повисла над темной гладью реки и, пролетев немного, рухнула в воду.

— Быстрее из машины! Быстрее! — закричал Иван, что было совсем лишним. Машина не погружалась так быстро, чтобы соз-

дать Герде какие-то трудности со спасением. Машина погружалась относительно медленно. Так, что Герда смогла выбраться из нее задолго до полного погружения.

— Ты помылся? — спросила она, выходя из воды.

— Вроде все смыл.

— Так одевайся уже. Простынешь, — надевая трусики, сказала Герда.

Оба оделись. Зуб не попадал на зуб, и пришлось основательно подвигаться, чтобы унять дрожь.

— Получай фашист гранату! — энергично похлопывая себя по плечам, весело говорила Герда. — Как мы их, а?

— Мы убили, — сказал Иван.

— Мы не людей убили, мы убили мерзавцев. Неужели тебе их жалко?

— Нет, не жалко. Но все же мы убили.

— Не мудрствуй и не морализируй. Мы не могли иначе.

— Да, пожалуй.

— Я даже испытала наслаждение. И одновременно чувство выполненного долга. Но больше — наслаждения.

— Даже так? — спросил Иван.

— Даже так. И мне не стыдно. Ну все, пошли вон туда. Там, где шалаш. Надо как-то скоротать время до утра.

— А вдруг там кто-то есть в шалаше? — сказал Иван на ходу. — Тогда и их тоже тебе придется убить.

— Опять морализируешь?

— Забыл, что ты сверхчеловек, а значит, твоя жизнь ценнее, чем жизнь кого бы то ни было.

— Ты серьезно, или иронизируешь?

— Я задаю себе серьезный вопрос: в самом ли деле твоя жизнь ценнее, чем жизнь кого бы то ни было?

— Позволь мне не отвечать, — сказала Герда и, подойдя к шалашу, добавила: — Слава богу, он старый. Видишь, хвоя порыжела? — светя фонарем, сказала Герда, подходя к шалашу и заглядывая в него. Хвоя, которой он был устлан изнутри, тоже была явно прошлогодняя.

— Скорее всего, здесь давно уже никого не было.

— Слава богу, — сказал Иван и вдруг закричал: — Черт! Черт!

- Что такое? — встревожилась Герда.
- У них остался мой паспорт и ключи от квартиры!
- Их в карманах не было.
- Наверное, в бардачке!

Иван повернул в обратную сторону и на ходу снял куртку.

— Стой, — сказала Герда. — Тебе нырять нельзя. У тебя только позавчера было сотрясение мозга. Я нырну. Лучше возьми фонарь и свети мне, когда я буду нырять.

— Ты и так долго была в воде. Ты можешь переохладиться.

— Я закаленная. Я даже была моржом, — сказала Герда, быстро скинула с себя всю одежду и вошла в реку. Ее долго не было, и Иван уже начал волноваться, но тут Герда вынырнула.

— Есть, есть! — закричала она, подплыла, выкарабкалась на берег и протянула Ивану паспорт и ключ. — Ну? Разве я не сверхчеловек? — сказала она, стуча зубами и одеваясь.

— Не знаю. Знаю только, что ты настоящий герой.

Они пошли к шалашу и залезли в него.

— Не очень-то мягко будет спать, — сказала Герда, присаживаясь на бурюю хвою.

— Ты будешь спать? — спросил Иван

— Если холод позволит. А что делать? Автобусы еще не ходят, — она легла. — И ты ложись. И прижмись ко мне покрепче, согреться надо. Только без свободомыслия. Мы ведь не собираемся заводить детей? Только чтобы согреться.

## ГЛАВА 24

— Ну, как наши дела? — спросил, входя в палату, врач — плотный, кругленький, чуть седоватый мужчина лет пятидесяти с веселыми маленькими глазками. — Начнем с вас, Олег Николаевич. Тоски нет?

— Вообще-то я чувствую себя хорошо, но кое-что действительно тревожит, — ответил Философ. — Вы заказали табличку «Кафедра ревнителей религиозной философии»?

— Еще не заказал.

— Поспешите заказать, чтобы, когда к нам приедут иностранные делегации с Запада перенимать опыт, было наглядно ясно, что мы здесь дурака не валяем, что у нас здесь кафед-

ра. Да и вам какой почет будет на Западе, что вы все-таки осмелились на такое неслыханное вольнодумство, как религиозно-философская кафедра при таких обстоятельствах. Вы меня понимаете?

— Я вас прекрасно понимаю, Олег Николаевич. Но и вы меня тоже поймите. Задолго до того как начнут приезжать иностранные делегации, которые, может быть, меня и вас поймут, потому что Запад есть Запад, нас могут посетить другие, назовем их тоже условно делегациями, которые нас не поймут, потому что дикость есть дикость. Вы меня понимаете? Так что философствуйте сколько угодно, но табличку я позволить не могу. С моей стороны это выглядело бы даже неким издевательством, не знаю, поймете ли вы. Да, а почему «религиозная философия»? Вы же не верите в бога?

— Я не верю в библейского бога, он ложный, потому что его творили одни невежественные люди для других невежественных людей.

— Отчего вы так сурово, в библии много мудрых и добрых истин.

— Добрые и мудрые истины, конечно, есть. Науки нет. Сплошные мифы. Мой же бог — бог образованного человека для другого образованного человека. И мой бог будет совершенно определенным, моя библия не будет туманной и противоречивой, не потребует истолкования, оправдания, не будет разных трактовок, а потому все другие религии постепенно исчезнут, даже все секты исчезнут, и в мире будет единая религия, а меня назовут ее пророком.

— Но ведь ваш бог, пусть он даже не из сказки или не из легенды, все равно будет всего лишь умозрителен?

— Но согласитесь, Сергей Викторович, и атом вначале был умозрителен, но потом, с развитием науки, эта умозрительность подтверждалась опытом, исследовалась, снова подтверждалась опытом, и теперь мы совершенно уверены, что атом именно такой, четкий и ясный: внутри — ядро из протонов и нейтронов, а вокруг вращаются электроны. И мой бог будет таким же четким и ясным, как атом.

— Ну что ж, желаю вам умоузреть нового бога, Олег Николаевич. Ну а вы как, Максименко?

— Задумал написать новый «Черный квадрат». Сейчас усиленно над ним размышляю, чтобы не подумали, что я написал «Черный квадрат» только потому, что поленился думать.

— Если хотите знать мнение просто человека, то «Черный квадрат» — это отрицание живописи как таковой, а если хотите знать мнение психиатра, то «Черный квадрат» — это настроение Малевича в определенный жизненный момент. Скажем прямо, паскудное было у него настроение. А может быть, и прав Олдос Хаксли, что в современном искусстве так боятся сказать банальность, что, либо ничего не говорят, либо говорят чушь. И все-таки, раз вы поклонник современного искусства, я вам советую, если уж писать квадрат, то писать его голубым или оранжевым. И даже не советую, а скажем, прописываю, как врач, что-нибудь повеселее. Не черное. Напишите, например, восходящее оранжевое солнце. Напишите то, что бы радовало людей. Не черное.

Сергей Викторович повернулся к Давиду Давидовичу. — А теперь вы, Давид Давидович. Вы как?

— Плохо мне, потому что плохо пролетариату.

— Ничего, не сразу Хитропупинск строился. Да и не только пролетариату плохо, интеллигенции тоже не сладко приходится. Будем верить в лучшее.

— Я верю в лучшее.

— Ну и слава богу. Теперь... — он пристально, с прищуром посмотрел на Заратуштру.

— Собака бьется кусачей! Так говорил Заратуштра, — сказал Заратуштра.

— А вот вас я, Ботиночкин, не совсем понимаю. Бессонницу мы вылечили, а остальное... Нейробиология у вас в норме, анализы на шизофрению — тоже. Томография — тоже ничего не дала. Что же с вами? Почему вы не хотите выписываться?

— «Если хочешь быть здоров — позабудь про докторов!» Так говорил Заратуштра, — сказал Заратуштра.

— А вот это вы удачно сказали. Похоже, вам действительно скоро придется о нас навсегда забыть. Хотя вы и говорите, что вы не Ботиночкин, а пророк Заратуштра, я у вас никакой патологии не нахожу. Думаю, что и консилиум тоже не найдет. Вы извините, Ботиночкин Ботинок Ботинович, но, похоже, что вы косите. Вот только зачем? На одну пенсию вы не проживете, а на работу с таким диагнозом не устроитесь.



— Только от жизни собачьей, — сказал Заратуштра.

— Жизнь у нас у всех собачья. Но жить — все равно надо.

— А как же моя фобия? — спросил Заратуштра.

— Ах да, у вас же фобия... Вы слишком боитесь метеоритов и грозы. Но и тут я боюсь, что вы косите. Ни разу не слышал, чтобы метеорит убил человека.

— А молния? Меня может убить молния. Или падающий самолет. По-вашему, если меня начинает трясти, когда я выхожу на улицу, то это норма?

— Ну ладно. Поверю вам, хоть и не верится. Походите пока к психотерапевту. Полечитесь. Ну а вы, Николай Федорович? Выпить не тянет?

— Не тянет, — твердо сказал Озабоченный.

— Вы — эпилептик, поэтому вам даже самую малость нельзя, иначе в какой-то момент все начнется снова.

Сергей Викторович посмотрел на Леню-барabanщика.

— А теперь Леня, — сказал он. — Как ты себя чувствуешь?

— Я воодушевлен! Я буду маршировать в первых рядах!

— Где маршировать?

— На парадах!

— На каких еще парадах?

— На парадах в Небесном Хитропупинске.

— Слышал я о Небесном Хитропупинске, — Сергей Викторович укоризненно посмотрел на Давида Давидовича. — Эх, Давид Давидович! Я же просил вас, подумайте, пораскните мозгами. Борьба с болезнью зависит и от самого больного, а не только от лекарств. Это и самостоятельное исключение из своего сознания нелогичного. Небесный Хитропупинск — это крайне нелогично, Давид Давидович.

— Это потому кажется вам нелогично, что вы отступили от заветов марксизма-ленинизма. Я тоже одно время, каюсь, под влиянием пропаганды, отступил от заветов марксизма-ленинизма, И знаете, чем это кончилось? Меня ударило током!

— И я верю в Небесный Хитропупинск, — сказал Гороховый Суп. — Потому что там не только гороховый суп, но и мясо, и копченая колбаса, и пирожные, и мороженые. Жаль, что вы не можете прописать мне копченую колбасу или пирожное.

— А ты горбушку черного хлеба чесноком натри — и будет тебе как копченая колбаса. Я дома так делаю, — посоветовал Ленья-барабанщик.

— Дурацкие какие-то у тебя советы! Горбушка — это совсем не то. Эх, колбасы бы!

— Пойдем со мной, — сказал Сергей Викторович. — У меня есть бутерброд с колбасой, правда, с докторской, но я ведь доктор, мне, наверное, и положено есть докторскую.

— Не хочу вас как будто объедать. Но с другой стороны, вы все-таки человек количественный, а я человек качественный, а количественные люди должны служить людям качественным, давать им котлеты и колбасу.

— Не давайте ему ничего, Сергей Викторович! Он вконец обнаглел! — сказал Озабоченный.

— Это не наглость, это святая простота. Пойдем, пойдем.

— Они вам скоро на шею сядут, — шепнула в дверях медсестра.

— За двадцать лет еще никто так и не сел, — возразил врач.

Все трое вышли из палаты.

— А кто такой Эпикур? — спросил Петя Нирыба, держа в руке смартфон. — Тут написано: «как Эпикур».

— Это такой древнегреческий философ, — ответил Озабоченный. — Кстати, об Эпикуре, а в связи с ним и о Магдаленке. Уж больно меня эта тема занимает. Ведь можно предположить, что, раз Магдаленка, как истинный эпикуреец, делает это ради собственного удовольствия, попутно доставляя удовольствие другим, то она — это я философствую — достаточно нравственна с эпикурейской точки зрения.

— Это не эпикурейская точка зрения, — сказал Философ. — Это может быть точкой зрения другого философа. Был такой, Аристипп. Именно он выше всего ценил плотские удовольствия, а Эпикур выше всего ценил дружбу. Ты почему-то пытаешься эту грешницу оправдать.

— Я теоретизирую. Ведь не проститутка же она. Была бы проститутка, имела бы выгоду, тогда, может быть, совсем другое дело.

— Пусть теоретизирует. Теоретизируй, Озабоченный, — сказал Художник. — Мне очень интересно. А вдруг дофилософствуемся до того, что окажется, что она просто святая. Вдруг она

как второй Христос, только Христос любил людей духовно безвозмездно, а она физически безвозмездно. Вот сказал, и сам себе удивляюсь, ну не чушь ли? Философия ли это или уже дурдом?

— Не дурдом. Философия, — сказал Озабоченный.

— Да она обыкновенная шлюха! О ней и говорить не стоит! — воскликнул Философ.

— Шлюхи нужны обществу, — сказал Заратуштра. — Шлюхи — это пример того, как добро побеждает мораль.

— Дерьмо все это! — воскликнул Давид Давидович. — Уж насколько я терпеливый, но вы, двое из ларца, со своим философствованием и мне уже надоели. Большая она на передок и все тут! Какая тут философия!

— Успокойся, Давид Давидыч, — мягко сказал Заратуштра. — Ну хочешь, мы с тобой коммунистическую песню споем про вождя мирового пролетариата? «Ленин всегда живой, Ленин всегда со мной...»

— Не трожь святое имя Ленина своим грязным языком!

— И вправду, здорово обиделся... — огорчился Заратуштра. — Вот только язык у меня не грязный, а бойкий. Грязного я ничего не сказал. Жизнь это, жизнь как она есть. А ты, Озабоченный, запишись все-таки за завтраком ходить.

— Обязательно запишусь. Мне только интересно, она красивая?

— Не скажу, чтобы сохранить интригу, — сказал Заратуштра. — Скажу только приметку: она все время вместо веера обмахивается бумажным самолетиком. — А о красоте спроси у Философа, может быть, он не хочет сохранить интригу.

— Философ, а, Философ? Она красивая? Что ты молчишь? Трудно сказать?

— Трудно... Язык не поворачивается правду о ней сказать... Какое-то оскорбление получается, оскорбление для всех красивых женщин. Словно на всех красивых женщин ее грязная тень падает. Но она — красивая. Она — удивительно красивая...

## ГЛАВА 25

Кафе «Стрелка» хоть и называлось кафе, но кофеом здесь даже и не пахло. Герду встретил запах пива. За столами тут и

там сидели в большинстве своем одетые в тренировочные костюмы мужчины, большей частью небритые, переговаривались матом и жаргоном и потягивали пиво. Кое-где на столах стояла и водка.

Герда решила, что надо, по возможности, казаться своей. Она подошла к стойке и, кожей ощущая на себе нескромные взгляды мужчин, тоже заказала пиво. Взяв бокал и отойдя от стойки, она нерешительно остановилась, поскольку все столики, хотя бы одним человеком, но были заняты.

— Иди сюда, подруга! Я не кусаюсь! — сказал мужчина лет сорока, одетый, в отличие от остальных, в костюм, и Герда посмотрела на него внимательнее. Доверия он не внушал. Что-то было неприятное и отталкивающее в его полном вороватом лице, но куда-то приткнуться надо было, и Герда села за его столик.

— Какими судьбами? — спросил он. — Ведь ты, я вижу, не конкретная?

— Как это «не конкретная»? — спросила Герда.

— Ну, не блатная. Так какими судьбами?

— Пока не скажу. Мне нужно к вам присмотреться.

— Ну, присмотришься. Присмотришься...

Герда еще раз и еще внимательнее оглядела мужчин за столами. Все были подвыпившими, а этот, рядом, по крайней мере, был трезв.

— Ну что, присмотрелась?

— Присмотрелась, — сказала Герда.

— Ну, так давай познакомимся. Меня Глебом зовут. Только я не Жеглов.

— Меня зовут Гердой.

— Ну, за знакомство тогда, Герда?

Он поднял свой бокал, Герда — свой, они чокнулись и отпили по глотку. Потом Глеб взял лежащую на столе пачку сигарет и протянул Герде.

— Спасибо, — сказала она, — только я не курю.

— Это хорошо, — похвалил Глеб, закуривая. — Это очень важно для женщины. А то сейчас и курят, и одновременно пытаются выкармливать грудью ребенка, а это нехорошо, не по-женски это, не основательно. Женщина должна быть основательной.

Последние слова как будто добавили Глебу весомости, и Герда решила спросить.

— Вы сидели?

— Чалился, — сказал Глеб.

— А за что чалились?

— Ну, на такие вопросы обычно не отвечают, потому что такие вопросы обычно не задают. Но тебе — простительно, потому что ты — молоденькая, наивная.

— Просто я мало еще сталкивалась с такими людьми. Я даже слово «чалиться» только раз до этого слышала.

— Ты, наверное, не смотришь сериалы про ментов.

— Не смотрю.

— А зря. Многие из них даже меня учат жизни.

— Ну, так за что вы сидели? — осмелилась она спросить еще раз.

— А сидел я за гоп-стоп. За вооруженное ограбление.

— Ну, что такое «гоп-стоп» я знаю. А чем вы были вооружены?

— Пистолетом.

— А вы могли бы вооружиться чем-нибудь другим? Например, винтовкой с оптическим прицелом?

Глеб посмотрел на Герду внимательнее.

— Зачем тебе винтовка с оптическим прицелом? — прямо спросил он.

— Я не о себе. Я о вас.

— Не держи меня за идиота. Зачем тебе?

— Ну, раз уж вы такой догадливый... Хочу охотиться на кабанов. Говорят, что восточнее Саратова их развелось видимо-невидимо.

— Так далеко поедешь на охоту?

— У меня там родственники.

— А ты знаешь, что простакам не дозволено владеть нарезным оружием, а только гладкоствольным? Да и то только членам общества охотников.

— Да ведь и вы знали, что нельзя заниматься гоп-стопом, да еще с пистолетом?

— Счет один-один, согласен, — сказал Глеб. — Ну что ж, пойдем. Отведу тебя куда надо... Пошли, — он мотнул головой в сторону входной двери, и оба вышли из кафе.

— Нам направо, — он снова мотнул головой, указывая путь.

По дороге Герда заподозрила недоброе, потому что поняла, что идут они по направлению к отделению полиции, а увидев здание справа, на котором висела синяя табличка с золотыми буквами «Полиция», остановилась.

— Дальше я не пойду, — сказала она. — Считайте, что я вас ни о чем не спрашивала.

— Пойдешь как миленькая, — Глеб вытащил из-под пиджака пистолет. — Ну, шуруй давай!

Герда постояла, посмотрела на здания, где везде висели камеры наружного наблюдения, и сдалась.

— Даже если бы я вас обезоружила и смылась, все равно меня бы нашли.

— Да уж! Давай лучше по-хорошему.

В отделении было пусто, только за столом упитанный полицейский ел черный хлеб с салом, розоватые ломтики которого лежали рядом на блюдечке.

— А этот все жрет! — вместо приветствия сказал Глеб.

— Ну и что? — спросил полицейский.

— Все жрет и жрет, и жрет, и жрет, — продолжал Глеб.

— Ну и что? — повторил полицейский.

— Рожа треснет, вот что.

— Ну и что? — снова повторил полицейский.

— Ладно, тебя не проймешь. Займись-ка этой девчушкой. Оформи в обезьянник.

— А что она натворила?

— Пыталась приобрести оружие с оптическим прицелом.

— Да-а-а, — многозначительно протянул жующий. — Статья серьезная. Урановыми рудниками пахнет. Жаль мне тебя, девочка, жаль. Красавица ты. Ну — давай, садись на стул и давай свои документы.

Герда вынула из сумочки паспорт и протянула полицейскому.

В «обезьяннике», куда поместили Герду, уже были две небольшого роста блондинки характерной внешности: чересчур накрашенные и в юбочках, едва прикрывавших трусики. Сам же «обезьянник» представлял собой бетонную коробку с серыми деревянными лавками вдоль стен. На одну из лавок Герда и присела.

— Закурить не будет, подруга? — спросила одна из девиц.

— Не курю, — сказала Герда.

— Хорошо тебе, а у нас уши пухнут без курева. А ты вроде интеллигентная, за что же тебя повязали?

— За попытку приобрести огнестрельное оружие.

— Да, это серьезно, это куда хуже, чем у нас с Машкой. Да, Машка?

— Похуже, — согласилась Машка.

— Ну что ж, давай знакомиться? — предложила разговорчивая девица. — Я — Нинка. А ее Машкой кличут. А кто мы — ты, наверное, догадываешься?

— Догадываюсь, — согласилась Герда.

— И, наверное, осуждаешь, ведь ты-то такая интеллигентная.

— Не осуждаю. Как я могу осуждать, не зная, как складывалась ваша жизнь? Может быть, и я занималась бы тем же, если бы моя жизнь сложилась по-другому. Не суди и не судим будешь.

— Не то ты говоришь. И не так, — сказала Нинка.

— Почему?

— Не знаю, но не то и не так. Может, оттого, что уж слишком длинно. А может, и оттого, что как-то больно по-книжному твое «не суди и не судим будешь». Сказала бы «не осуждаю», — и достаточно. А то ты как проповедник или как учительница. Может, и вправду, в школе преподаешь?

— Официанткой я работаю в баре.

— Официанткой? — удивилась Нинка. — Но ведь это же гроши! Мы бы с Машкой на такие гроши не прожили бы. Да, Машка?

— Да, — согласилась молчаливая Машка.

— Удивляюсь я тебе! — продолжала разговорчивая Нинка. — Это с твоей-то красотой быть официанткой. Ведь ты же вылитая модель, и даже красивее, чем в глянцевого журналах! Правда, Машка? Ты могла бы быть и элитной проституткой, и такие деньжищи заколачивать, что нам и не снилось! Правда, Машка?

— Правда, — согласилась Машка.

— Я только две недели в официантках. До этого я работала редактором журнала «Наши лучшие друзья».

— Это про животных, что ли?

— Да, про животных.

— И что же это так, вдруг из редакторов да в официантки.

— Поражение в правах.

— Так ты что? Бывшая хитропулая?

— Да.

— Подожди, подожди, а ведь я тебя припоминаю! Ты же Герда Штерн! Ты слышишь, Машка? Скажи кому, что мы с тобой парились в одном обезьяннике вместе с дочерью Штерна — никто и не поверит! Правда, Машка?

— Точно не поверят.

— Я сейчас не Штерн, я Заболоцкая. Штерн я была до заму- жества.

— Так ты сейчас замужем? — спросила Нинка.

— Развелась.

— Это плохо. Дети остались от брака?

— Нет.

— Это хорошо. Ты такая еще молодая.

— Но у меня есть младший брат, и я ему вместо матери.

Тут Нинка поморщилась и простонала:

— Ой, как курить хочется! Может, достанем сигарет? Хватит стесняться, мы же не целочки?

— А кто будет доставать, ты или я?

— Давай, чтобы было по-честному, жребий бросим. У меня и монетка есть. Если орел — то я, если решка — то ты. Идет?

— Идет.

Нинка достала из карманчика юбчонки монетку, подкинула ее, поймала и, посмотрев, объявила:

— Решка!

Машка подошла к решетке и закричала:

— Эй, сержант, где ты там? Дело есть!

Ждали с минуту. Потом Машка снова закричала:

— Эй, сержант, где ты, а то я щас уссусь!

Появился сержант.

— Что за шум? — спросил он. — Кто тут уссыкается?

— Подойди и прислони ухо к решетке. Я на ушко тебе кое-то скажу.

Сержант приник к решетке, и Машка что-то прошептала ему на ухо. Он выслушал, отошел от решетки примерно на два метра, оглядел Машкину крепенькую фигурку и сказал:



— А ты ничего, но у меня только полпачки. Давай я тебе потом донесу?

— Давай полпачки, — сказала Машка, взяла сигареты из рук сержанта и кинула их Нинке.

Сержант открыл дверь и куда-то повел Машку.

— Тебе, наверное, все это в дикость? — спросила Нинка, когда шаги стихли.

— Нет, не в дикость, — сказала Герда. — Я не вчера родилась.

— Да, такова она, жизнь, если изнутри.... Не глянец, прямо скажем...

К решетке подошел еще один сержант.

— Кто тут Заболоцкая? — спросил он, глядя на Герду. — Ты?

— Я, — сказала Герда.

— Давай, суй руки между прутьями, я наручники надену.

— Куда меня? — спросила Герда.

— В центральный офис.

Когда Герду вывели из полицейской машины, она узнала площадь, где располагался центральный офис полиции. Поднялись на крыльцо, вошли внутрь, прошли по коридору и очутились перед какой-то дверью. Сержант постучал в двери, и они с Гердой вошли в кабинет. За столом сидел мужчина, склонившись над какими-то бумагами. Когда Герду подвели ближе, он поднял глаза от бумаг и указал ей на стул.

— Садитесь.

Герда села.

— Вы меня, наверное, знаете. Видели по телевизору. Я — Абакумов Геннадий Ильич, полковник Министерства внутренних дел. Вы только не знаете, что без ведома нашего министра не должно совершаться ни одно серьезное преступление, от поставок наркотиков до заказных убийств. Поэтому спрашиваю пока по-хорошему: зачем вам винтовка с оптическим прицелом?

— Я уже говорила вашему сотруднику, что она мне нужна для охоты на кабана.

— А как зовут этого кабана?

— Веселый вопрос вы задали: как зовут кабана. Кабан он и есть кабан. Я его не крестила, чтобы знать, как его зовут.

— Нет, вопрос я задал невеселый. Я грустный задал вопрос, просто вы весело на него ответили. Мне вот интересно, будете ли вы продолжать веселиться, если мы наденем на вас противогаз и лишим доступа воздуха. Если вы умрете от асфиксии, это не страшно. Мы объявим вашим родным, что вы сами повесились. Я знаю, нам не поверят, недоверчивый у нас народ, но это и не важно, потому что не народ у власти, а мы у власти. Вам все понятно?

— Нет, моя смерть вам даром не пройдет, гражданин Абакумов Геннадий Ильич. Я не Заболоцкая, я только стала Заболоцкой, а была я Герда Дмитриевна Штерн. Вам бы, да и вашему Жеглову, прежде заглянуть в базу данных надо было.

— Вы дочь Штерна?

— Да, я его дочь.

— Да, теперь я вас припоминаю...

Абакумов снял трубку и нажал какую-то кнопку на телефоне.

— Абакумов говорит. Соедините меня с генералом. Господин генерал? Тут вот какое дело... Мы взяли Герду Дмитриевну Заболоцкую, урожденную Штерн, за попытку приобрести оружие с оптическим прицелом. Что говорит? Говорит, что хотела купить для охоты на кабанов... Понимаю... Понимаю, что не время... Да, да, санкции... Да, будет скандал... Да, просто наивная. Да, просто дурочка... До свидания, господин генерал.

Абакумов вышел из-за стола и приказал:

— Снимите с нее наручники.

Наручники сняли.

— Так я свободна? — спросила Герда, потирая запястья.

— Свободны пока. Только не думайте, что вам все всегда будет сходить с рук.

— Тогда до свидания, господин Абакумов.

— Погодите, я пропуск выпишу.

Он черкнул какую-то писульку, с которой Герда благополучно покинула здание.

## ГЛАВА 26

Иван бегал пальцами по клавиатуре компьютера, когда зазвонил телефон.

— Привет, Иван. Это я, Игорь. Я демобилизовался.

— Когда? — спросил Иван.

— Неделю назад откинулся, но только сегодня смог тебе позвонить.

— Не говори «откинулся», ты же не уголовник?

— Ну, дембельнулся.

— Это сколько ты воевал?

— Год. Ты приходи ко мне завтра с Настей часов в шесть вечера. Потом пойдем в кабак, отпразднуем как следует. Заодно и квартиру обмоем. Я получил гостинку. С мебелью. Конфискованную у врагов гетмана. Завтра с утра заселяюсь.

— Да? За какие заслуги получил?

— Я теперь Герой Сельхозугодии.

— Поздравляю.

— Запиши мой адрес. Улица Самых Счастливых Коров, дом 6, квартира 77.

— Иван достал смартфон и записал адрес. Но он ошибся. Вместо 77 он написал 87.

— Я с приятелем буду, вместе в поезде ехали, — сказал Игорь. — Он из зоны только что освобожден. Ну, как вы там с Настей? Не ссоритесь?

— Настя от меня ушла. Может быть, я с Гердой приду, недавно познакомился.

— Ну с Гердой так с Гердой. Буду ждать. Да, как там Людок проживает? Все там же работает, в баре?

— Все там же.

— Я ее приглашу тоже. Она же развелась?

— Она снова замуж вышла. Хороший парень. Я был на свадьбе. Ну, не совсем на свадьбе. На вечеринке, скорее.

— Ну, дай ей бог...

— Ты расстроился?

— Расстроился.

— Не расстраивайся, на твою долю девушек хватит. Ты парень, как говорится, видный.

— В том-то и дело, что толстоват я. Ну — все. Вешаю трубку. Надо еще к тетке съездить, она просила. Пока. До завтрашнего вечера.

Иван стал набирать номер Герды.

— Герда, это ты?

— Я.

— Хочу завтра пригласить тебя в ресторан. Вернее не я, а мой друг нас с тобой приглашает. Только что вернулся из зоны боевых действий.

— Я не люблю разговоры о войне.

— Он тоже их не любит. А что у тебя с голосом, Герда? Какой то он тревожный. Что-то случилось?

— Случилось. Ты оказался прав, это действительно очень опасно. Только больше об этом ни слова. Может быть, мы и так лишнее говорим, мой телефон может прослушиваться.

— Да мы же ничего такого не сказали!

— Все равно.

— Ну, так мы встретимся?

— Где?

— На Площади Первого Гетмана. Только не на той стороне, где лавочки «Для тоски», а на той, где лавочки «Для радости». Ровно в 17.00. Я буду сидеть на первой со стороны Нового Крещатика. Идет?

— А как твоя голова?

— Все нормально. Отлежался.

— А голос у тебя веселый, не такой как был.

— Это от предвкушения встречи с тобой я несколько повеселел.

— Приятно это слышать. Нет, правда.

— И мне приятно, что тебе приятно. Ну — пока.

Иван положил трубку, подошел к стоящему гробу и произнес:

— Ну что? Может, пора с тобой расстаться? Старушке какой-нибудь подарить? Вроде как забрезжило что-то на горизонте. Вроде как узнаю тебя, жизнь, вроде как принимаю, вроде как приветствую звоном щита.

Он открыл гроб, взял туфли и, разглядывая их и поглаживая, сказал:

— Слаб человек! Поэтому придется вас надеть. А ведь раз уж я хочу быть мудрецом, то надо как Диоген, надеть тряпье и какие-нибудь лапти или галоши на босу ногу. Да, как я ни бьюсь, а не получается из меня аскета, не получается... Красота — великая порабощающая сила! Да, красота. Я твой раб.

## ГЛАВА 27

Полина Васильевна с метлой и совком вышла из подъезда. На скамейке сидела Вера Львовна и читала все ту же книгу.

— Привет лучшим людям! — поздоровалась Полина Васильевна, присаживаясь на скамейку напротив. — Все Чеха читаете?

— Все читаю. Давайте я вам еще почитаю?

— Давайте, милая.

— «Мне кажется, все на земле должно измениться мало-помалу и уже меняется на наших глазах. Через двести-триста, наконец, тысячу лет — дело не в сроке, — настанет новая счастливая жизнь».

Вера Львовна взгляделась в текст и, сняв очки и приставляя их поближе к книге, сказала:

— Почему-то между «новой» и «счастливой» нет запятой. Ну да ладно. «Участвовать в этой жизни мы не будем, конечно, но мы ради нее живем теперь, работаем, ну, страдаем, мы творим ее, и в этом одном цель нашего бытия и, если хотите, наше счастье». Вы что, не слушаете, Полина Васильевна?

Полина Васильевна не слушала. Она злобно смотрела на Федора, который, брезгливо отерши что-то газетой с туфли, бросил эту с коричневым комком газету на асфальт.

— Ты что же это гадишь, скотина! Не мог на мусорник отнести?! — вскричала Полина Васильевна. Но Федор быстрым шагом уже скрылся за углом дома.

Полина Васильевна встала, подняла Веру Львовну за локоток и повела к газете.

— Вы мне нужны, милая, — говорила она. — Сделайте одолжение, возьмите вот это — она указала на газету с коричневым комком, — и отнесите на мусорник, но не на наш, а на мусорник соседнего дома. Пусть оно там воняет.

— Но у вас же метла и совок! — возмутилась было Вера Львовна.

— Но оно знаете как к метле и совку прилипает? Вы осторожно, двумя пальчиками. В одну ручку «новую счастливую жизнь», а в другую — вот это, и топ, топ, топ, топ.

Из подъезда вышел Иван.

— Здравствуйте, Полина Васильевна, — поздоровался он.

— Какой ты сегодня нарядный! — воскликнула Полина Васильевна. — Костюм такой чудесный, модный. Бабочка розовенькая! И как будто повеселел. Есть время? Присядешь рядом? Поболтаем.

Иван сел на скамейку, Полина Васильевна — тоже.

— Куда это ты, такой красивый, собрался?

— На свидание, Полина Васильевна.

— А вот это — правильно. Не век же горевать. Хотя, конечно, если любовь, то она без горестей не бывает. Сама была молодая. Помню, как и сама убивалась из-за какого-то, как оказалось, чмо. Ревновала. А как гордилась, что выхожу замуж за Теодора Иогановича, потомка прусского короля Фридриха Великого! Он ведь мне свое генеалогическое древо показывал. А что в итоге? Да ты сам знаешь, что в итоге. В итоге этот прямой потомок Фридриха Великого оказался просто Федькой. Позорище одно. Говорит, что его испортила среда. А я думаю, что свинья среду найдет. Вот ты, например, грузчик, какая у тебя может быть среда, а тем не менее...

— Ну, я не эталон.

— Тем не менее, ты еще молодой, а уже чего-то добился.

— Вы слышали о Бердяеве? — спросил Иван.

— Это поэт?

— Нет, философ. Так вот, Бердяев говорил о своей неприязненности к людям, добившимся успеха в жизни. Ему это казалось приспособлением к миру, лежащему во зле.

— Ты тоже так думаешь?

— Отчасти — да. Но я все же думаю, что мир постепенно, очень медленно, конечно, но становится лучше.

— Да, человеческих жертвоприношений нет. Да, лет через двести-триста, а может быть, тысячу, мир, может быть, и станет совершенным. Но нас с тобой, Ваня, уже не будет. Наши косточки уже сгниют. Ну да ладно философствовать, ты, наверное, спешишь?

— Да. Цветы надо еще купить. Как вы думаете, какие розы лучше, белые или красные?

— Вы целовались? — спросила Полина Васильевна.

— Да.

— Тогда, наверное, красные. Ну — иди. Мужчине не пристало опаздывать, это женщине можно, а иногда даже нужно.

Иван встал, чтобы уйти, и увидел сидящего на дереве Федора.

— Федор, — коротко сказал он и пошел.

Позади послышалось:

— Ты опять залез на дерево, скотина!

— Не мешай мне возвышаться над тоской!

## ГЛАВА 28

Хотя Иван пришел на место встречи минут за пять раньше назначенного времени, Герда уже сидела на скамейке. Даже не поблагодарив за розы, она проговорила:

— Я думала, что я умная, а оказалась дура-дурой. Теперь за мной, возможно, будут следить и прослушивать телефон. Я не так за себя боюсь, как за знакомых. Что я всех своих знакомых могу подвести под монастырь. Даже сейчас за нами может кто-нибудь наблюдать и подслушивать микрофоном направленного действия.

— Так что же с тобой все-таки случилось? — встревожился Иван.

— Я нарвалась на одного типа, когда пыталась... Нет, не буду. Во мне появился инстинкт самосохранения. Да и тебя могу подвести. Скажу коротко: меня забрали в полицию, и только потому, что я урожденная Штерн, выпустили.

— Даже если все так страшно, даже если твой телефон прослушивают, все не так страшно. Просто выбрось из головы затею что-то изменить. Не надо делать ничего предосудительного, а, кроме того, хорошо подумать, прежде чем что-то сказать. Мы — влюбленная парочка и больше ничего. А влюбленным парочкам не до политики.

— Разве ты в меня влюблен?

— Пока нет. Но в тебя невозможно не влюбиться.

— В твою жену, наверное, тоже невозможно не влюбиться.

— Это так, — согласился Иван и добавил: — Давай сядем у фонтана, хорошо? Мне что-то жарковато в костюме.

— Давай у фонтана. Только нас может забрызгать.

— Не сахарные.

Они сели у фонтана.

— Ты очень элегантно одет. И бабочка тебе идет, — сказала Герда.

— Ты тоже ничего. Эта синяя блузка очень идет к твоим синим глазам. Если бы я был женщиной, я бы сказал: «просто прелесть».

— И мужчина может сказать «просто прелесть».

— Не может. Есть слова, которые мужчине употреблять категорически запрещается.

— Например?

— Например, то же «просто прелесть».

— А еще?

— Еще: «это так мило!» Ну, разве я не прав?

— Да, пожалуй... Что-то в этом немужское.

Какой-то мальчик, играясь рядом с пластмассовой машинкой, упустил ее фонтан. Иван с Гердой довольно долго смотрели, как малыш пытается дотянуться до игрушки, но, в конце концов, игрушка уплыла так далеко, что мальчик дотянуться уже не смог. Иван расстегнул манжет рубашки, закатил рукав пиджака, достал игрушку, отдал ее малышу, слегка погладил его по голове и услышал женский крик:

— Не трогай ребенка, педофил!

Пока Иван подбирал слова, чтобы оправдаться, раздался еще один женский крик:

— Все они извращенцы, эти лощеные!

— Пойдем отсюда, — сказал Иван.

— Я бы на твоём месте радовалась, — сказала Герда.

— Чему?

— Тому, что тебя называли лощеным.

— Я лощеный?

— Ты хорошо выглядишь. Элегантно.

Мальчик снова упустил машинку в фонтан. Но на этот раз Иван, убедившись, что добро наказуемо, повторил:

— Пойдем отсюда.

Они встали, отошли подальше и уселись на лавочку под табличкой «для радости».



— Интересно, кто это придумал таблички «Для тоски» и «Для радости»? — спросила Герда.

— Я читал где-то, что эти чугунные столбики с табличками появились во времена Первого Великого Гетмана. К концу его правления, когда он окончательно дошел до маразма, все было настолько строго регламентировано, что появились эти чугунные столбики с табличками. Говорят, что именно при нем на дверях общественных туалетов, хотя и без того ясно было, что это туалеты, все равно появились таблички с надписью «Писать и какать здесь».

— Но ведь это же глупо?

— На первый взгляд — глупо. Но улица Самых Чистых Штанов тоже вроде бы глупость, но людям, а особенно туристам, почему-то нравится.

— Да, — согласилась Герда. — «Писающий мальчик» тоже в какой-то степени глупость, а людей привлекает.

— Да, тонко все это... — Иван посмотрел на часы.

— Ну что? — сказал он, — пойдем потихоньку к Игорю? Он недалеко живет. На улице Самых Счастливых Коров.

Когда они оказались у дома и зашли в подъезд, Герда оглянулась и, не увидев никого, сказала:

— Слежки, кажется, нет. Только не думай, что это паранойя.

— Я так не думаю.

Дом Игоря оказался гостинкой, и единственный подъезд встретил Герду с Иваном запахом разлитого пива и еще чего-то нечистого. В поцарапанном и обрисованном баллончиками и фломастерами лифте пахло алкоголиком, и иконописное лицо Герды исказила гримаса отвращения.

— Неприятно? — спросил Иван.

— Ерунда, — сказала Герда. — Бывает и хуже.

— В гостинках живет много маргиналов, — сказал Иван.

— Твой друг, я надеюсь, не маргинал?

— Не маргинал, хотя и многие маргиналы — маргиналы по неволе. Бедность-то у них беспросветная, и перспектив вырваться из бедности никаких. И нет никаких возможностей купить квартиру, вот и ютятся, бедные, по несколько человек в одной комнате.

— Зря ты их оправдываешь. Можно и в бедности сохранять достоинство, а у тебя получается, что если ты беден, то можешь со спокойной совестью мочиться мимо унитаза.

— Ну, я этого не сказал...

Они вышли из лифта и чуть прошли по коридору направо.

— Здесь, где мусор свален, — сказал Иван, нажимая на кнопку звонка, — квартира 87.

— Кто там еще? — грубо спросили за дверью женским голосом и добавили: — Если вы опять насчет мусора, то мусор мы уберем, раз вы сами не можете, раз вы такой белоручка!

— Я не насчет мусора, — сказал Иван.

Дверь открылась.

— Чего вам? — жуя и сплевывая шелуху от семечек в кулечек из газеты, спросила немолодая, густо накрашенная женщина.

— Извините, но по моим сведениям здесь должен жить мой друг, военный, Герой Сельхозугодии, — сказал Иван.

— Издеваетесь? — грубо спросила женщина.

— Я вас не понимаю, — сказал Иван. — И в мыслях не было. Видите ли...

— Точно издеваетесь! — грубо перебила его женщина. — Хотите сказать, дескать, вот мы какие, что даже друзья у нас Герои Сельхозугодии, не то что вы, лапотники позорные, вот что вы хотите сказать!

— Да нет, что вы, и в мыслях не было... — оправдывался Иван. — Но это же квартира 87?

— 87.

— Странно... — сказал Иван. — Он должен жить здесь...

— Как это должен жить здесь? А мы куда денемся?

— Да я не в том смысле, — пролепетал Иван.

— Если вы сейчас же не перестанете мне угрожать, то я вызову полицию, и она придет незамедлительно! Потому что начальник полиции мой кум, а вы, по-моему, даже никакой не начальник вообще!

— Да кто там такой? — слышался из глубины квартиры молодой женский голос.

— Да что-то непонятное тут стоит, — полуобернувшись, крикнула в глубь комнаты женщина.

— Ну дак закрой дверь!

— Да оно чего-то хочет!

Тут, шаркая тонкими босыми ножками, в прихожую просе-  
менил шупленький трясущийся дедушка и ломким голосом  
крикнул: «Бей его, ребята!». После этого он занес кулачок и уда-  
рил Ивана в живот, хотел ударить еще, но женщина его схватила  
за руки. Удержать его было не трудно, да и удара Иван почти не  
почувствовал. Тогда старичок прокричал, что таких, как этот, во-  
обще надо расстреливать без суда и следствия, поскольку совер-  
шенно ясно, что он прибыл к нам в plombированном вагоне.

— Пойдем, — потянула Ивана за рукав Герда.

— Подожди, тут что-то не так. Может, они еще не высели-  
лись?

— Бей его! — кричал дедушка вырываясь.

Тут в дело вмешалась молодая женщина.

— Ты посмотри, до чего он нашего дедушку довел! — возму-  
тилась она. — А может, дедушка не ошибся? Может быть, и  
впрямь, plombированный вагон? А ну-ка, ваши документы!

Герда рукой отстранила Ивана и сказала:

— Извините, но документов у нас с собой нет. Но завтра, ес-  
ли вам так нужно, мы обязательно принесем. А теперь извините  
за беспокойство, до свидания.

И Герда с Иваном стали спускаться по лестнице.

Похоже, что Ивану с Гердой действительно могло не поздо-  
ривиться, поскольку сверху донеслось:

— Алло! Полиция? Кума позови!

На улице Герда сказала:

— Тут какое-то недоразумение. Ты знаешь его телефон?

Иван набрал номер.

— Игорь, привет! — сказал он. — Мы, похоже, заблудились.  
Позвонили в восемьдесят седьмую квартиру, но там другие люди  
живут.

— Я разве сказал «восемьдесят седьмая»? Я сказал «семьде-  
сят седьмая».

— А-а-а... Сейчас будем.

Когда на другом этаже в полутемном коридоре, вглядываясь  
в номера на дверях, снова искали квартиру Игоря, Герда тихо  
произнесла:

— Почему у нас такие злые люди...

— Почему? — спросил Иван. — А помнишь, как в «Гамлете»? «Так на какой же почве? — Да на нашей, датской».

Наконец нашли нужную дверь и позвонили. Послышалась песня «Не стреляй», и Игорь почти сразу открыл дверь. Он заметно похудел, но все равно оставался увальнем, добродушным увальнем.

— Привет, Иван! — сказал Игорь, пожал руку Ивану и обнял его, а, взглянув на Герду, воскликнул: — Уж не ангела ли небесного я вижу? Вам никто не говорил, что вы — ангел небесный, потому что ваша красота — неземная!

— Это потому, что у вас в прихожей темно.

— Вряд ли только от того. Да, везет тебе на красивых девушек! Да что это я вас в прихожей держу. Проходите. Проходите в комнату.

В комнате был какой-то парень, и когда Иван с Гердой вошли, он привстал с кресла.

Это был небольшого роста шатен, скуластый, с крючкова-тым носом на треугольном лице и с пытливыми карими глазка-ми. На нем был серого цвета костюм, вышедший из моды лет пять назад.

— Знакомься, Сергей. Это мой хороший друг Иван со своей девушкой. Как вас звать?

— Герда.

Сергей пожал Ивану руку, говоря при этом: — Ну, Ивану я руку пожму, а вот вам — не буду, леди. Я лучше ее поцелую.

Он поцеловал Герде руку, но Ивану это слишком долгое це-лование не понравилось, он несколько посуровел, что не ус-кользнуло от внимания пытливого Сергея.

— Извини, Иван. Я могу показаться уродом, но на зоне нет женщин. Соскучился.

Иван промолчал.

— Ну что? Давайте кофе пока выпьем? Вы любите раствори-мый кофе, Герда? — спросил Игорь.

— А как вас звать? — спросила Герда.

— Игорь.

— Я как раз, Игорь, растворимый и люблю, потому что из не-го можно сделать кофе по-еврейски.

— По-еврейски это как? — спросил Сергей.

— Это с густой пенкой. Я вас научу. Горячая вода есть?

— Только чайник вскипел, — сказал Игорь. — Да вы садитесь, садитесь. Вы, Герда, садитесь в кресло, оно новое, а ты, Иван, на диван. А ты, Серый, иди со мной.

Они вышли на кухню и скоро появились вновь. Игорь принес на подносе сахарницу, чашки с блюдцами и ложечками, а Сергей чайник и банку растворимого кофе. Когда расставили чашки на столе, Герда взяла одну из них, тихо постучала по ней ложечкой и сказала:

— Смотреть всем!

— Да, смотреть всем! — сказал Иван. — Раз это придумали евреи, значит это уже неплохо, значит, смотреть всем.

— Ну-у-у... — протянул Сергей, — жиды, между прочим, и Великую Октябрьскую социалистическую революцию придумали. Только было ли это умно?

— И на старуху бывает проруха, — сказала Герда. — Ну, так вы смотрите?

— Смотрим, смотрим! — сказал Сергей.

Герда насыпала в чашку ложечку сахара, добавила ложечку кофе, перемешала, добавила чуточку воды и снова стала все это перемешивать и перетирать. Скоро, перемешав и перетерев все до густоты сметаны, она долила в чашку воды, и получился напиток с густой пенкой.

— Это и есть кофе по-еврейски, — сказала она.

— Гердочка, вы извините, но я тут посмотрел на часы и понял, что мы можем опоздать, делая кофе по вашему рецепту. Может быть, это и вкусно, но надо поспешить. Пока попьем кофе без причуд, — сказал Игорь.

— А я хочу такой кофе, мне интересно, — сказал Сергей. — Это ничего, что опоздаем.

— Нет, — твердо сказал Игорь. — Сегодня пятница и, наверное, много охочих сходить в сравнительно недорогой ресторан.

— Кабак это, а не ресторан, — заметил Сергей, насыпая себе кофе и сахар. — Не бывали вы в настоящих ресторанах.

— Ну, мы не хитропупые, и сейфы тоже не взламывали, чтобы иметь столько денег, — сказал Игорь.

— Камешек в мой огород? — спросил Сергей.

— Понимай, как хочешь.

— Если я правильно поняла, то вы, Сергей, медвежатник? — спросила Герда. — А вы любой сейф можете вскрыть?

— Я — мастер! — заявил Сергей.

— Герда, мы же договорились, что ты не будешь пытаться изменить мир, — напомнил Иван.

— О чем это вы? — спросил Игорь.

— Да так, о своем. Тебе лучше не знать, безопаснее, — сказал Иван.

— Хочу заметить, что я сидел вовсе не за взломы. Я сидел за то, что разругался с хитропупым. Причем, он выстрелил мне в ногу из пистолета, но посадили не его, а меня. Оказалось, что я его якобы ударил. Он даже предоставил в суд липовую справку о наличии телесных повреждений. Не очень красивая это статья, хулиганство. Но по документам я хулиган.

— Да, нет справедливости в наших судах! — вздохнул Игорь. — Ну да ладно. Хватит грустить. Всем давно известно такое положение вещей, пора бы и смириться. От нас ничего не зависит.

— Зависит, — сказала Герда.

— Герда, в тебе снова пропал инстинкт самосохранения? — спросил Иван.

— О чем это вы? — снова спросил Игорь.

— Тебе лучше не знать, безопаснее.... — снова сказал Иван.

## ГЛАВА 29

Ресторан оказался далеко не шикарным, но и назвать его забегаловкой тоже было нельзя. Белые креслица из пластика были украшены национальным рисунком, столы были покрыты белыми скатертями тоже с национальным узором по краям, а официанты были одеты в вышиванки. На национальный колорит претендовали и белые занавески с национальной вышивкой, развешанные на окнах на такой же манер, на какой когда-то развешивали похожие занавески в селах на окнах. Музыканты на сцене тоже играли что-то по мотивам народных песен.

— Какой вам нравится столик, Герда? — спросил Игорь.

— Давайте за тот, что в самом дальнем углу. В уголке как-то уютнее, — предложила Герда.

— Пойдемте, раз так, — сказал Игорь.

Все устроились за столиком, и вскоре подошел официант и подал меню.

— Тут много непонятных блюд, поэтому я предлагаю выбрать что-нибудь знакомое, традиционное, — сказал Игорь, рассматривая меню.

— А что там традиционное? — спросил Сергей.

— Ну... Грибы с картофелем в горшочках, холодец, окрошка, котлеты по-киевски с рисовым гарниром, голубцы, украинский салат.

— Ну, говорите, кто чего хочет? — предложил Игорь.

— Мне только котлеты по-киевски с рисовым гарниром, — сказала Герда. — Я поужинала дома.

— А мне только грибы в горшочках, — сказал Иван. — Я тоже поужинал.

— Возьми хотя бы котлеты по-киевски, ты же их всегда любил? — сказал Игорь.

— Разлюбил. Я теперь не ем мяса. Я видел, как этих бедных коров убивают, и с тех пор как отрезало. Не хочу финансировать убийства, — сказал Иван.

— Животные для того и предназначены, чтобы люди их хавали. Разве не так? — спросил Сергей.

— Не так, — сказала Герда. — Потому что человек вполне может обойтись растительной пищей. Индийцы, например, не едят мяса.

— Но ты-то ешь? — спросил Сергей.

— Грешна, — сказала Герда.

— Да ну вас, интеллигентов! — сказал Сергей и обернулся к официанту. — Мне котлеты по-киевски, оливье и грибы в горшочке.

— Хорошо. А я возьму грибы в горшочке и украинский салат, — сказал Игорь.

— И вазу с водой принесите для цветов, — сказала Герда.

— А пить что будете? — спросил официант.

— Шампанское и две бутылки горилки с перцем, — Игорь обвел всех глазами. — Никто не против?

— Никто не против, — за всех ответил Сергей.

Официант удалился.

— Вот ты, Сергей, сказал, что животные и предназначены, чтобы их ели, — заговорила Герда. — А я вот вчера в парке видела интересную сценку. К куску хлеба на траве подбежала мышка, но тут подлетела ворона — и мышка сразу же спряталась в норку. И что бы вы думали? Ворона отломил кусочек хлеба и положила его возле норки. Себя она, конечно, не обделила, но и о мышке позаботилась.

— Удивительно! — воскликнул Игорь.

— Да, заставляет задуматься. А еще говорят, что человек — венец творения, — сказал Иван.

— А ты что скажешь, Сергей? — спросила Герда.

— А что, мне тоже положено умиляться?

— Но разве тебя это не трогает?

— Не трогает. Я — мужчина.

— Разве в этом заключается мужественность? — спросила Герда.

— И в этом тоже, — сказал Сергей.

— Не ссорьтесь, ребята, — сказал Игорь и добавил: — Вы извините, что я не настаиваю, чтобы вы заказали побольше, но тут все так подорожало, что я боюсь, не хватит денег, — сказал Игорь.

— Я за все заплачу, — сказал Иван.

— Ну — нет! — воспротивился Игорь. — Я вас пригласил, а ты платить будешь? Куда это годится!

— Плати, — согласился Иван. — Только кто будет пить горилку? Я, например, ее не пью, Герда — тоже.

— А я пью, — сказал Игорь.

— Я тоже, — сказал Сергей.

— Все равно, две бутылки — это много.

— Да брось ты свои интеллигентские штучки! — недовольно морщась, сказал Сергей. — Тоже мне, интеллигент! Две бутылки ему много! Вечер-то долгий!

Иван посмотрел Сергею в лицо. Глазки у него уже перестали быть пытливыми, а стали, пожалуй, наглыми.

Официант прикатил на тележке вазу с водой и спиртное: шампанское и две горилки с перцем.



— Шампанское сейчас открыть? — спросил он.

— Валяй, — бросил Сергей небрежно.

Официант открыл шампанское, разлил его по фужерам и удалился.

— Ну? Кто скажет тост? — спросил Сергей. — Я лично предлагаю выпить за волю. Уж очень я люблю это сладкое слово: «воля»!

— А может быть, лучше выпьем за свободу? — предложила Герда, размещая цветы в вазе. — Слово «воля» уж больно отдает вседозволенностью, а человек, чтобы оставаться человеком, должен себя ограничивать.

— Ну, за свободу — так за свободу, — согласился Сергей.

Все подняли фужеры и чокнулись. Игорь с Сергеем осушили фужеры до дна, Иван отпил половину, а Герда только пригубила.

— До дна, до дна, все пьем до дна! — воскликнул Сергей.

— Я выпью, если вы настаиваете, но это будет единственный фужер, — сказала Герда.

— Я тоже только фужер. Мне писать завтра надо, — сказал Иван.

— Все пишешь? — спросил Игорь.

— Все пишу.

— А что ты пишешь? — спросил Сергей.

— В данное время роман.

— Так ты писатель? — удивленно вскинул брови Сергей.

— Писатель.

— Знал я одного жиди писателя. Только он старый уже был. Нам на зоне всё рассказы сочинял. Прямо на ходу сочинял, жидяра. Потом, может, я о нем расскажу. Сейчас мне в одно место надо. Я пива выпил.

Когда Сергей отошел, Иван сказал:

— Не доверяю я твоему Сергею. Не знаю почему, но не доверяю.

— Я тоже ему не доверяю, мне кажется, что он какой-то нагловатый, — сказала Герда.

Официант подкатил на тележке заказанное и стал расставлять тарелки по столу.

— О, принесли! — воскликнул подоспевший Сергей и сел за столик. — Тогда давайте выпьем чего-то покрепче! И ты, писа-

тель, выпьешь! Ничего, ничего. Не попишешь один день, не страшно. И ты, Герда, выпей! Горилка с перцем — это не водка. Пьется легко.

— Если я и выпью, то только полрюмочки, — сказала Герда.

— Ну, хоть полрюмочки!

Все выпили, и Герда, поставив свою рюмку, сказала:

— А она ведь не противная, как мне думалось. Она просто острая.

— А что я говорил?! — самодовольно заулыбался Сергей.

Пока они ели, ресторан понемногу заполнялся.

— А теперь еще по одной, — сказал почти приказным тоном Сергей и разлил горилку по рюмкам.

— Ладно, — сказал Иван. — От тебя не отвяжешься.

— Герда, ты хоть эту рюмку допей! Не порть праздник! — настаивал Сергей.

— Нет, больше — ни-ни. Даже не уговаривай. Мысленно присоединяюсь, — сказала Герда и спросила, обращаясь к Игорю: — А снайперы у вас были?

— А как же. Конечно, — сказал Игорь.

— А ты можешь снайперскую винтовку достать?

— Герда! — сказал Иван. — Ты снова за свое?

— Я только спрашиваю. Так можешь?

— Я — нет, я не делец. Но кое-кого по этой части знаю. А за чем тебе?

— Буду охотиться на кабанов. Говорят, восточнее Саратова их развелось видимо-невидимо!

— А ты знаешь, как это опасно? — спросил Игорь.

— Жить тоже опасно. Можно умереть, — сказала Герда.

Вдруг заиграли и запели «Анастасию». У сцены появились танцующие пары, и в одной из женщин Иван узнал Анастасию. Она танцевала, обняв уже немолодого, седоватого мужчину и что-то весело шептала ему на ухо, положив голову на плечо. От удивленного уже отступившая было тоска снова сдавила сердце.

— Что с тобой, Иван? — озабоченно спросила Герда. — С чего ты так помрачнел?

— Ничего страшного, задумался просто... — соврал Иван. — Мне просто надо выйти и все.

— А-а-а... поняла.... Из-за песни...

Она посмотрела в сторону сцены и тоже узнала танцующую Анастасию.

— Мне надо выйти, — сказал Иван. — Иначе... Иначе я кого-то убью...

Иван встал и быстрым шагом направился в туалет.

— Что это с ним? Кого это он убивать собрался? — спросил Игорь.

— Захочет — сам скажет, — ответила Герда.

В туалете Иван закрылся в кабинке, опустил крышку унитаза, сел на нее и, схватившись за голову, зашептал:

— Она мне не нужна, она приносит только горе. Она мне не нужна, она приносит только горе. Она мне не нужна, она приносит только горе...

Затем он стал больно бить себя по щекам, приговаривая:

— Возьми себя в руки, слюнтяй! Возьми же себя в руки, тряпка...

Он встал, глубоко вздохнул, выдохнул и вышел из кабинки.

Когда Иван вернулся за столик, его ждал сюрприз. На сцене на стуле перед микрофоном сидел Сергей, и в руках у него была гитара.

— Дамы и господа, леди и джентльмены! — говорил он в микрофон. — Песня, которую я спою, называется... Нет, я не знаю, как она называется, но это замечательная американская поэте-са, я только совсем чуть-чуть ее переделал, а потому это замечательная песня. Песня, достойная вас дорогие дамы и господа! А посвящаю я ее замечательной... нет, не то слово. Необыкновенной девушке, которую зовут Герда. Спортсменке, комсомолке и просто красавице!

Он запел и заиграл.

Завидую волнам — несущим тебя —  
Завидую спицам колес.  
Кривым холмам на твоём пути  
Завидую до слез.

Всем встречным дозволено — только не мне —  
Взглянуть на тебя невзначай.  
Так запретна ты для меня — далека —  
Словно господний рай.

Завидую гнездам ласточек —  
Пунктиром вдоль застрех —  
Богатой мухе в доме твоём —  
Вольна на тебя смотреть.

Завидую листьям-счастливым —  
Играют — к окну припав.  
За все алмазы Писсарро  
Мне не купить этих прав.

Как смеет утро будить тебя?  
Колокольный дерзкий трезвон —  
Тебе возвещать Полдень?  
Я сам твой и Свет и Огонь.

Он закончил петь и начал кланяться, принимая аплодисменты.

— Он, по-моему, нехороший человек, но поет замечательно, не думала... — сказала Герда на ухо Ивану.

— А ведь здорово, Серый! Ты, клянусь своим велосипедом, всех покори! — сказал Игорь, когда Сергей вернулся.

— И тебя я покори, а, Герда?

— Тебе бы певцом быть, правда, Ваня? Ну, Ваня! Брось горевать! Как мне хочется, чтобы ты бросил горевать! — сказала Герда.

— Сейчас брошу, — сказал Иван, налил себе целый фужер горилки и выпил.

— Это тот, кто не пьет горилку! — заметил Сергей.

— От него недавно жена ушла, и она здесь, с другим женщиной, понятно? — сказала Герда.

— Немножко понятно. Но чтобы так из-за этого горевать? Нет, непонятно. По мне — плюнь и разотри.

— В самом деле, Иван, — сказал Игорь. — Ты с Гердой пришел, она твоя девушка, насколько я понимаю, и вдруг ты в ее присутствии плачешься из-за другой женщины. Ведь Герде может быть обидно. Разве тебе, Герда, не обидно?

— Обидно, но я Ивана очень хорошо понимаю.

— Прости, Герда, — сказал Иван. — Я — подлец. И справедливо будет, если ты меня бросишь.

— Нет, не будет справедливо. Когда я с тобой познакомилась, я знала, что твое сердце не свободно, знала, в какой ты вязнешь трясине, знала, на что шла. Кроме того, ты не гусь, Ваня, далеко не гусь.

— А при чем тут гусь? — спросил Сергей.

— Кто-то сказал, что любить писателя, а потом встретить его, это все равно, что любить гусиную печенку и потом встретить гуся. Но ты не гусь, Ваня. Далеко не гусь.

— А я гусь? — с хитринкой в глазах спросил Сергей.

— Ты то гусь, то не гусь. Ты можешь то разочаровывать, то очаровывать.

Подошел официант с блокнотом и ручкой.

— Пожалуйста расплатиться, — сказал он, глядя в блокнот. — С вас 250 евро.

Игорь полез в карман пиджака, достал бумажник, раскрыл его и замер.

— Черт! — воскликнул он. — В нем нет денег!

— Ничего, я заплачу, — сказал Иван и достал бумажник, который оказался распухшим от банкнот.

— А ты, оказывается, богатенький Буратино! — воскликнул Сергей, глядя на деньги. — Уважаю!

Иван расплатился с официантом и встал.

— Куда ты? — остановил его Сергей. — Мы же, бля, шампанское не допили!

— Да. Давайте допьем, — сказал Игорь. — Не пропадать же добру. Ты будешь, Иван?

— Нет, не буду.

— А ты сноб, — сказал Сергей, разливая шампанское. — Ну снобствуй, бля, снобствуй, а мы, бля, выпьем. Лучше, быть жлобами, чем снобами. Дешевле обойдется.

Герда достала из сумочки кулек для цветов, уложила в него розы и, увидев, что мужчины прикончили шампанское, взяла из сумочки смартфон и сказала:

— А теперь, ребята, давайте ваши адреса и телефоны. Возможно, я заявлюсь к вам в гости. А ты, Ваня, прости, но не звони мне пока.

— Как долго? — спросил Иван.

— Это от тебя зависит. Только от тебя... Не думай, что я не хочу тебя видеть, я тебя не бросаю. Все зависит только от тебя.

## ГЛАВА 30

Герда еще спала, когда раздался телефонный звонок. Полу-сонная, она взяла трубку, сказала «алло» и услышала:

— Это Максим говорит.

Спросонья она не сразу узнала голос и спросила:

— Какой Максим?

— Максим Загурский.

— Ах, Максик! Привет! Извини, не узнала спросонья. Как поживаешь?

— Я-то ничего, а вот ты... — он замолчал.

— Что ты замолчал?

— Потому что это не телефонный разговор. Надо встретиться. Дело серьезное. Сейчас 9:15. Ты постарайся в 10:15 прийти в кафе «Грот», в сам грот. Знаешь, где это? Мы там однажды с тобой были.

— Помню. Это на улице Самых Счастливых Людей.

— Верно. И постарайся не опаздывать.

Кафе «Грот» на первом своем этаже не было чем-то примечательным, но стоило спуститься в подвал, как посетитель попадал в пещеру, отделанную ракушками и морскими камнями. Герда, всегда предпочитавшая что-нибудь поукромнее, села за столик в углу и пока рассматривала сделанные под глубокую старину бра, похожие на газовые фонари, подошел официант.

— Что будем пить, девушка? — спросил он.

— Кофе, пожалуйста. И пару кусочков сахара, — сказала Герда. Официант удалился.

Герда посмотрела на часы. Было ровно 10:15.

Появился Максим. Это был плотного сложения темноволосый мужчина лет тридцати пяти. На нем был строгий темный костюм со значком «ХП», и казался он человеком чрезвычайно уверенным в себе, основательным и властным. Не поздоровавшись в ответ на приветствие Герды, он сел напротив и в упор глядя Герде в глаза, спросил:

— Зачем тебе винтовка с оптическим прицелом?

— На кабанов охотиться, — врала Герда. — Говорят, их точнее Саратова развелось видимо-невидимо! Только ты откуда знаешь?

— Я именно тот генерал, с которым говорил полковник Абакумов.

— Ого! — воскликнула Герда. — Ты уже в генералы выбился!

Подошел официант и поставил на стол чашку кофе на блюдечке.

— А вам что, господин хитропупый?

— Тоже кофе. Сахару не надо. Так зачем тебе, только честно, такое оружие?

— Я же говорю, что на кабанов охотиться, — помешивая сахар в чашке, говорила Герда. — В Саратове. Ты же знаешь, что у меня там родственники.

— Допустим. Но разве ты не знаешь, что оружие с оптическим прицелом запрещено иметь даже хитропупым?

— Ну... Захотелось...

— Я тебя отмазал. Сказал, что ты просто дурочка. Молоденькая и наивная дурочка. Запретил устанавливать за тобой слежку и прослушивать твои телефоны. Но если ты будешь продолжать в том же духе, мне тоже не поздоровится. Найдутся такие, что на меня донесут министру. Дескать, мы ее взяли, но этот враг гетмана велел ее отпустить. Ты это понимаешь?

— Понимаю.

— Тогда пообещай, нет, поклянись мне здоровьем своих родных, что не будешь делать ничего незаконного.

— Клясться — грех. Могу только пообещать.

— Ладно. Попробую поверить.

Подошел официант с кофе, но Максим уже встал.

— А как же кофе, господин хитропупый? — спросил официант, и в голосе его была обида.

Максим достал бумажник, вынул из него десять евро, протянул официанту и со словами «за даму тоже» покинул грот.

На лице Герды появилась улыбка.

— Обошлось, обошлось... — прошептала она, допила кофе и подалась из заведения.

По дороге ей попался тир, и она не преминула в него зайти.

— Десять пулек, — сказала она и протянул продавцу деньги. Тот отсчитал на блюдечко десять пулек.

— Как она бьет? По центру или под яблочко? — спросила Герда.

— По центру, — ответил продавец.

— Прекрасно! — сказала Герда. — Я хочу стрелять по свечам, зажгите.

— По свечам трудно попасть. Попробуйте лучше по мишеням.

— Ничего. Я все-таки попытаюсь. Я раньше хорошо стреляла. Правда, из винтовки и пистолета.

Герде удалось потушить девять свечей из десяти, что ее развеселило.

— Вот как надо! — воскликнула она.

— Да, вы молодец! — согласился продавец и добавил: — Вы, наверное, хитропупая, только без значка?

— Почему вы так решили?

— Ну, я так понял, что вы стреляли из винтовки, а нарезное оружие простакам запрещено.

— Да, собираюсь идти на охоту с винтовкой.

— А на кого охотиться будете?

— На кабана.

— Ну, счастливой охоты.

## ГЛАВА 31

— Нет, Любочка, я понимаю, когда человек родился с таким горем, — иначе как горем это не назовешь, — но чтобы в таком возрасте сменить ориентацию? Нет, не понимаю! — сидя за столом, на котором стояли бутылка вина, шампанское и закуски, говорил полный мужчина с каким-то сытым лицом и беспокойно бегающими маленькими глазками.

— Не гневи бога, Василий! — сказала Люба, тоже полная крашенная блондинка лет тридцати пяти с чересчур ярким макияжем. — Если бы Лекрыс не сменил ориентацию, мы не смогли бы так открыто встречаться.

— Ну, а он-то сам с ним встречается?

— Что ты! У него любовь возвышенная и на расстоянии. Он говорит, что настоящая любовь не в обладании, а в обожании. У



него и другие странности. Абсолютно нет слуха — а все пиликает на скрипке. Говорит, что хочет быть таким же утонченным и возвышенным, как и его любовь

— Да кто же это такой утонченный и возвышенный?

— Этого он не говорит. Говорит, что тот гений, и что гениев многие люди никогда вначале не понимают.

Из соседней комнаты донеслись звуки скрипки.

— Что ты там опять запиликал, Лекрыс? — так громко закричала Любочка, что Василий поморщился. — Какой шедевр ты так шедеврально исполняешь?

— Только не надо иронизировать. Я научусь. Не сразу Хитропупинск строился. А исполняю я «Ходит зайка».

— Зайка у него ходит! — сказала Люба и покрутила пальцем у виска.

— Но проктолог-то он хороший?

— Да вроде ковыряется.

— Диплом не за сало купил?

— Нет, тут уж ты мне поверь.

— У меня ведь, Любаша, по этой части проблемы. Проклятый геморрой. Бывает, так схватит, — хоть кричи. Может, он меня посмотрит? А то в поликлинику все некогда, все работа, работа. Быть главным говорителем страны — ой как нелегко.

— Хорошо, я пойду спрошу.

Люба открыла дверь в соседнюю комнату. Звуки скрипки стали громче.

— Перестань пиликать хотя бы на время и ответь мне на один вопрос. Ты не мог бы заглянуть в одно место?

— В какое место?

— Ну, в то, куда ты любишь заглядывать.

— Это ты так шутишь?

— Уж и пошутить нельзя. Посмотри, пожалуйста. Там у Васи что-то не так.

— Сегодня же твой день рождения, праздник. Зачем портить праздник диагнозом?

— Вы извините, — вмешался подошедший Василий, — но потом мне просто не до того будет. Все работа, работа. Заела, проклятая!

— Проходите сюда, раздевайтесь и залазьте на этот стол, пожалуйста.

Василий снял брюки, под которыми оказались белые ажурные трусы.

— Какой ажур, какая белизна! — воскликнул Лекрыс.

— Праздник! — пояснил Василий, снимая трусы.

— Встреча с чужой женой — праздник?

— Но вы же все равно, простите, другой ориентации. И вы подали заявление на развод.

— Да ладно уже, ладно, я не ревную. Забирайтесь на стол. Становитесь на четвереньки и раздвиньте ягодицы, — проговорил Лекрыс. — А ты выйди из комнаты, — он взял Любу за руку и стал выпроваживать.

— Почему выйди? Мне, может быть, тоже нравится!

— Да что там может нравиться!

— Но ты же этим занимаешься?

— Это мой крест, — закрыв дверь и вернувшись к столу, он снова приказал раздвинуть ягодицы.

— Ну что там? — поинтересовался Василий.

— Плохо там. Хуже не бывает. Сплошные узлы. Гордиевы, я бы сказал узлы.

— Значит, только операция?

— Да, вас спасет только операция. Одевайтесь. С вас десять евро.

— Целых десять евро? Но вы же ничего не сделали!

— Я провел консультацию, с вас десять евро.

— Да побойтесь бога брать с меня деньги! Мы же почти что родственники!

— Вы считаете, что если вы спите с моей женой, то это уже родство?

— Ну, не родство. Но близость какая-никакая...

— Дай ему десять евро, Вася, — открывая дверь, сказала Люба. — Пусть удавится. Умный уступает.

— Это слабый уступает, не дам!

— Ничего. Я тогда конфискую ваш ананас и шампанское, вином обойдетесь, — Лекрыс пошел в зал и забрал со стола бутылку и ананас.

— Пусть конфискует, Вася. Не будешь же ты с ним драться. Посмотри на него, он жалкий!

## ГЛАВА 32

Надежда гладила постельное белье, когда раздался звонок в дверь. Она посмотрела на часы. Было половина одиннадцатого.

— Кто там? Вы, Лекрыс? — спросила она, подойдя к двери.

— Да, я, Лекрыс, — послышалось за дверью.

Надежда, открыв входную дверь, сказала:

— Только, пожалуйста, не играйте.

— Вы меня простите, Наденька, что я к вам так поздно. Но... как бы вам сказать... Скажу, что думаю. Человечество большое, а вы — одна. Вы — единственная. А играть я не буду, я даже скрипку не взял. Я вот по какому поводу. Я...

— Вы проходите в комнату. Садитесь в кресло, а мне надо белье догладить.

— Кстати, вы смотрели сегодня концерт по первой программе? Были Боря Моисеев, Поплавский, Шура, другие великие, — оставляя на столе ананас и шампанское, сказал Лекрыс.

— Я не смотрела. Я не люблю великих.

— Я тоже не люблю великих. Но ведь другие любят? Поэтому, может быть, мы чего-то не понимаем?

— Это не мы, это другие чего-то не понимают, — сказала Надежда. — Так по какому вы поводу?

— Понимаете, я сегодня опять всю ночь не спал, все думал над тем, как искоренить воровство, взяточничество, несправедные суды. Помните ЛТП?

— Не помню, а что это?

— Лечебно-трудовой профилакторий. При Советском Союзе в них алкоголиков лечили. Я предлагаю устроить нечто подобное. Понимаете, у нас только в школе людей кое-как и кое-чему учат. А потом, когда их еще больше надо учить, когда на них с особенной тяжестью обрушиваются пороки нации, когда они особенно нуждаются, так сказать, в культивации, они растут, не ведая стыда, как лопухи и лебеда. И взятки дают, и берут, и воровуют, и все это не ведая никакого стыда. Бесстыдно воровать каким-то странным образом присутствует в генах нашего народа. Когда-нибудь ученые, западные, конечно, у нас уже их нет, а допустим, английские или японские, научатся извлекать из нас ге-

ны воровства и взяточничества и пересаживать чистые и честные, от огурца или помидора. Но ведь это когда будет? А что делать пока? Жить-то честно и сейчас надо? Поэтому всю пени-тенциарную систему надо перепоручить англичанам или японцам. Затем следует организовать особые тюрьмы, назвать их дистанциями и посадить в них для начала половину страны. Сажать не только простаков, но и хитропупых. Потому что, как я теперь узнал из русского радио и Би-би-си, хитропупые ничем не лучше, а даже хуже. Назвать тюрьмы дистанциями потому, что в них и простаков, и хитропупых будут держать на дистанции от пороков общества, где они с помощью литературы, искусства и одиночества будут развивать в себе иммунитет к среде обитания. Работать там, в отличие от ЛТП, будет не надо. А в одиночной камере от скуки поневоле начнешь читать настоящую литературу, слушать настоящую музыку, и поневоле начнешь становиться лучше, поневоле себя культивировать. Каждый год заключенные будут сдавать экзамен по культивации англичанам или японцам. Иначе, сами понимаете, свобода будет покупаться и продаваться.

— Хорошо вы это придумали, — сказала Надежда. — Вот только то, что человек говорит, сдавая экзамен по культивации, и то, что он при этом думает, — разные вещи.

— Есть и другой вариант. Запретить разнополюе браки. Тогда проблема решится сама собой. Настанет миг, когда народ исчезнет с поверхности земли. А территорию пусть займет достойный жизни народ. Так будет справедливо.

— Вы только одну ночь не спали?

— Я вообще перестал спать.

— Тогда вам надо к врачу.

— Я сам врач.

— Психиатр?

— Проктолог. И я проктолог, и отец мой был проктолог, и дед мой был проктолог.

— Династия?

— Народность.

— Никогда не слышала.

— Очень редкая, вымирающая. Настанет миг, когда она исчезнет с поверхности земли.

— Грустные вещи вы говорите.

— Да, грустно. Но ведь только из грусти может получиться настоящий человек. Тот, кто не испытал горести, — недочеловек. Такого не возьмут на небо.

— Вы верите в бога?

— Не очень, но все же, если он есть, мне иногда думается, что он любит, когда люди страдают.

— Значит, по-вашему, бог зол?

— Не знаю, но у нашей народности есть такая легенда. В ней рассказывается, что наш предок, праотец, вначале жил в раю. Жил вдвоем с женой, красавицей и умницей. Детей у них не было, они сами были как дети. И жили они вечно и радостно. А почему бы и не жить вечно, если живешь радостно? И Про — так звали праотца — любил играть на скрипке. И вот однажды, когда он сидел на берегу ручья, пытаясь сыграть его журчание, соткалась из лунного света лестница, и спустился по ней незнакомец. Спустился, сел рядом, обнял Про за плечи и сказал:

— Перестань, а?

— Почему? — спросил Про.

— Потому что плохо ты играешь, больно слушать.

— А что такое «больно»? — спросил Про.

— Ты не поймешь, лучше отдай скрипку.

— На, возьми, мне не жалко. Вон их сколько на деревьях растет.

— Скрипки больше не будут расти на деревьях. Время плакать.

— А что такое «плакать»? — спросил Про, но незнакомец не ответил, он поднимался по лестнице.

— А что такое «плакать»? — закричал Про, но незнакомец молчал.

Тогда Про стал подниматься по лестнице вслед за незнакомцем, но лестница вдруг распалась, Про упал, сломал себе ногу и горько заплакал. А жена его смеялась, потому что думала, что он так смеется. Потому что до этого никогда не слышала плача.

— Врача, врача! — кричал прозревший Про.

— А где у нас врачи?

— На деревьях посмотри!

Врачей на деревьях не было. Пришлось Про самому стать врачом, а потом они отправились искать новый рай, потому что их рай высох. Вот так. А вы...

— Что я?

— Верите в доброго Бога. Если бы он был добрым, он бы не допустил бы столько горя и несправедливостей.

— Тогда и я расскажу вам одну легенду, только очень коротенькую. Сидят папа муравей и сын муравейчик на верхушке муравейника. Ночь и светит месяц. Вот сын муравей и говорит:

— Папа, какая ночь! Какие звезды! И как чашечка месяца красиво светит!

— Это не чашечка, это шар. У месяца есть точно такая же обратная сторона — полушарие.

— А зачем месяцу обратная сторона, она же все равно не светит?

— По недомыслию, сынок, по недомыслию.

— И что же эта легенда означает, я не понял? — спросил Лекрис.

— Мы, как и эти муравьи, не все можем постичь.

— Да. Наверное... А легче жить, когда веришь в бога?

— Легче. Намного легче.

— И все равно мне вас жаль. Молодая, красивая и такая одинокая.

— Не надо комплиментов, у меня одна нога не в порядке, а вы с комплиментами.

— Это такая чепуха, Наденька. Все равно вы лучше, чем красавица! — он помолчал, потом добавил: — Жаль, что я такой невзрачный, что такого вы никогда не сможете полюбить.

— Но ведь ваша бывшая жена, когда мы были в бомбоубежище, говорила, что вы сменили ориентацию?

— Я просто сказал про него, что он утонченный, высокодуховный, что такого можно полюбить. И добавил еще, что настоящая любовь — это обожание, а не обладание. Все остальное — это уже ей, наверное, приснилось. А может быть, себя оправдать хочет, что завела любовника. Дескать, я верная жена была бы. Это он со своей ориентацией виноват, — он замолчал, потом сказал:

— Голова кружится, и какие-то пятна перед глазами...

— Это оттого, что вы не спите. Вам надо поспать. У меня где-то было снотворное.

Надежда вышла на кухню и стала рыться в шкафчике. Вернувшись, она подала Лекрысу бутылек.

— Вот. Годен до пятнадцатого мая. Сегодня как раз пятнадцатое.

— Спасибо, Наденька. До пятнадцатого, говорите? А что же такое важное у меня назначено на пятнадцатое число? Что-то с Иваном связанное, а вот что, хоть убейте, забыл.

— Вам надо сон наладить, — сказала Надежда.

— Да, конечно. Но — не получается. Только лягу, как видения появляются. Какие-то черные вороны с желтыми хищными глазами и новорожденные с когтями хищников.

— Вам к врачу надо, — сказала Надежда.

— А поможет? Разве это спасет от действительности? Ведь люди действительно хищники, потому и рождаются с когтями хищников, просто они у них до времени втянутые, их не видно. Вам не страшны новорожденные с когтями хищников?

— Страшны.

— И мне страшны. Хорошо, что я не акушер.

Лекрыс закрыл глаза и пошатнулся.

— Ой, что-то в глазах туманится, и пятна какие-то. Вы мне кофе не приготовите?

— Я приготовлю вам чаю, только некрепкого, — сказала Надежда и вышла из комнаты.

— Я никак не могу вспомнить, что же такое важное намечено у меня на пятнадцатое число...

Вернулась Надежда.

— Скоро закипит, — сказала она.

— А может, шампанского выпьем? Зачем-то я его принес?

— Шампанского на ночь?

— Тогда давайте нарежем ананас. Зачем-то я его принес? Режьте, не стесняйтесь.

— Спасибо. Сейчас схожу за ножом.

Лекрыс потянулся к лежащей на столе книге.

— А что это вы читаете? А-а-а... «Снежную королеву»...

— Да, «Снежную королеву», — входя в комнату, сказала Надежда.

— Видимо, хорошие люди плохих книг не читают, — Лекрыс положил книгу и посмотрел на ананас. — А что это вы ананас не кушаете? Вы кушайте, кушайте, а я посмотрю. Клянусь своим велосипедом, мне приятно будет посмотреть, как вы кушаете.

Надежда принялась за ананас.

— А ведь вы, Наденька, точно так же, как и Герда из этой книги, могли бы научить меня видеть и младенцев без когтей, и ласковый светло-голубой воздух, и нежные звезды в теплом синем небе, и теплый голубой снег, и людей с чистыми помыслами. Людей, которые, как сказочные Герда с Каем, любят друг друга так бескорыстно и радостно, что, клянусь своим велосипедом, ты тоже проникаешься этой любовью, и такая радость охватывает, такая радость...

Послышался свист закипевшего чайника.

— Я сейчас, Лекрыс, — сказала Надежда и вышла.

— Такая радость, — продолжал Лекрыс в одиночестве, — что так и хочется в эту радость окунуться, и окунаешься, и болтаешься, как говно в проруби, и хочется выть.

— Простите, я не расслышала последние слова, — сказала Надежда, возвращаясь с чашками.

— А вам и не надо было их слышать, я о мышеловке говорил.

— Что-то из Шекспира или из Чехова? Кто-то из них говорил, что жизнь — это мышеловка.

— Да, что-то такое было, но вам это ни к чему. Вы такая, такая! Слов нет, какая вы!

— Вы говорите обо мне красивые слова, упорно не замечая, что я калека.

— Я этого не вижу.

— Зато все остальные видят.

— Дураки.

— Нет, не дураки. Просто люди.

— Но Иван — определенно дурак.

— Не будем больше об этом. Все прошло.

— Как с белых яблонь дым... Как красиво! А Иван говорит, что красоту надо запретить.

— Как это можно запретить красоту?



— Не знаю, как он собирается это сделать, но он говорит, что мир устроен неправильно. Мир должен быть не цветным, а серым. Если мир будет серым, его не будешь любить. А женщины должны появляться на улице только в серых ватниках, серых штанах и кирзовых сапогах.

— Он это серьезно?

— Не знаю, но говорил не улыбаясь. Он все теперь видит в мрачном свете. Все видит не так. Это когда-то, говорит он, в мире не было ни грязи, ни зависти, ни жадности, ни подлецов, не теперь.

— А где были подлецы?

— Наверное, погибли на дуэлях.

— А разве только подлецы погибают на дуэлях?

— Да, не только. Но если бы был ваш бог, то погибали бы только они. Хотя, это еще вопрос, кто подлец, а кто нет. Так что, вполне возможно, что ваш бог сам не знает, кто есть кто. Сам путается. Может быть, и я подлец, потому что завидую его таланту и в глубине души желаю его смерти...

— Чьей смерти? — спросила Надежда, но Лекрыс не ответил.

Часы на стене зажужжали, поднатужились и начали бить, и Лекрыс на них посмотрел.

— Ну, вот он и умер... — сказал он и вздохнул. — Вот и хорошо, теперь вы у него не в плену, теперь есть надежда, что вы сможете обратить внимание на меня...

— Кто умер?

— Кто же, как не Иван, — Лекрыс вытащил из кармана ключи. — Вовремя я вспомнил. Пойду удостоверюсь и вызову похоронную бригаду.

— Вы шутите? — вскричала Надежда. — Вы плохо шутите!

— Какие уж тут шутки, с цианистым калием не шутят.

— Боже мой, боже мой! — Надежда схватилась за голову. — Я с вами, я с вами!

## ГЛАВА 33

В комнате, освещаемой только ночником, был полумрак. Иван лежал на диване, рядом с ним на столике стояли початая

бутылка коньяка, стакан, блюдечко с нарезанным лимоном, пепельница, полная окурков, и лежала пачка дорогих сигарет. Из динамиков звучала «Анастасия» Юрия Антонова. Иван слушал эту музыку и одновременно смотрел на изображение Герды на экране смартфона. Послышался звук вставляемого в замок ключа, и через мгновение на пороге появились Лекрыс и Надежда. Иван выключил музыку.

— Передумал? — с порога спросил Лекрыс.

— Где цианид? — спросила Надежда.

— Ох, Наденька! Ты так неожиданно! Ты садись, садись! — засуетился Иван. — Рад тебя видеть.

— Где цианистый калий? — повторила Надежда.

Иван посмотрел на Лекрыса.

— Ты все рассказал? — спросил он.

Тот кивнул.

— Выбросил, — сказал Иван, глядя на Надежду.

— Правда? — спросила Надежда.

— Тебя бы я никогда не стал обманывать.

— И чего же ты передумал? — спросил Лекрыс.

— Просто передумал и все, — сказал Иван.

— Это почему же? — спросил Лекрыс.

— Отстаньте от него, пожалуйста! — попросила Надежда. —

Вы же видите, что ему все еще тяжело.

— Я хочу узнать, почему он передумал! — настаивал Лекрыс.

— Лекрыс, шел бы ты со своими вопросами подальше, а?

— Вы слишком нетактично себя ведете! — сказала Надежда. — Уйдите лучше.

— И оставь ключи.

— Значит, когда Лекрыс был нужен, так заходи, дорогой, а как не нужен, то пошел вон?!

— Не слушай его, Иван. Он много ночей не спал, поэтому так нетактичен.

— Я ухожу, но я чувствую, что ты, клянусь своим велосипедом, кое-что от нас скрываешь. И я даже знаю, что из себя представляет это кое-что, вернее, кое-кто. Не верьте ему, Наденька! Он может использовать вашу к нему любовь!

— Все остыло, — сказала Надежда. — Но вам лучше уйти, Лекрыс.

— Я вижу, что вы оба на меня ополчились. Ну, тогда ладно. Пойду. Но вы не верьте ему, Наденька! Не верьте!

После того как Лекрыс захлопнул входную дверь, Иван снова налил себе в стакан коньяку.

— Это обязательно? — спросила Надежда, когда он потянулся за лимоном.

— Это лекарство. Ты будешь?

Надежда отрицательно покачала головой.

— Ну — за одиночество! — сказал Иван и выпил коньяк.

— Это плохой тост, — сказала Надежда. — Это все равно что произнести тост за все плохое.

— Да, мне плохо. Но, может быть, это-то и хорошо? Ведь самое важное происходит с человеком и больше всего человек очеловечивается, когда он один. Только так человек становится лучше.

— Или хуже, — заметила Надежда.

— Ты так думаешь?

— Я думаю, что на свете немало как одиноких подлецов, так и не одиноких.

— Пожалуй, ты права. Это я, наверное, увлекся. Все бывает, абсолютно все. Ты смотришь на гроб? Красивый, да? Это я не для себя выбирал, для людей. Если бы я сам себя мог похоронить, я бы выбрал гроб из некрашенных досок, поглубже что-нибудь бы выбрал, поне красивее, потому что пытаюсь приучить себя не зависеть от красивых вещей. Глубоко заблуждался Жан-Жак Руссо, утверждая, что зависимость от вещей не имеет никакого нравственного характера и не порождает порока. Порождает, еще как порождает. Красивые вещи, они же, как наркотик, к ним сразу привыкаешь, и хочется еще и еще. Потом без очередной дозы красоты ломка начинается. Тогда люди идут ради красоты даже на убийство. Не может человек, зависимый от красивых вещей, быть высоконравственным. Ты сама посуди, кто у нас в стране самые большие любители красоты? Хитропупые. Красота, если и допустима, то должна быть уродливой. Так сказать, красивая уродливость или уродливая красо-

та. Вот какой должна быть красота. А красота, если она не воспитывает, если не напоминает о смерти, это как лакированная поверхность стола без самого стола. Она ничемно-поверхностная вещь. Пустышка. Она уже никуда не годится, как и красивая женщина, не отягощенная мыслью, не годится для продолжения рода. Она родит тебе таких же не отягощенных мыслью детей. Но вот беда: красота коварна, и просто удивительно, как умеет обмануть человека. Поэтому, когда смотришь на такую женщину, все равно кажется, что она годится для продолжения рода. Но это поправимо. Это можно запретить. Надо издать соответствующий закон, запрещающий таким женщинам выходить на улицу без противогаза. Нет, Наденька, я понимаю, что это бред, но разве в этом бреде нет резона? Разве он не заставляет задуматься? Разве не правдивее будет изображать красивую женщину с каким-нибудь уродством, например, безногую — и рядом ее ампутированные ноги. А потом можно будет изобразить ее с пришитыми толстыми белыми нитками ногами. Толстыми белыми нитками. Почему белыми? Любая красота шита белыми нитками, потому что человек смертен и подвержен несчастьям. Так что лучше к красоте не привыкать. И к миру тоже лучше не привыкать. И мир каждого человека тоже шит белыми нитками. И не прав был тот, кто сказал, что тебе повезло, если ты родился. Все как раз наоборот: тебе крупно не повезло, если ты родился.

Иван снова налил себе коньяку.

— Ты говоришь, что надо всегда помнить о смерти, — сказала Надежда. — Может быть. Но не лучше ли вместо твоих ужасов придумать что-нибудь другое, мягче напоминающее о нашей бренности? Можно просто поставить в вазу букет из опавшей листвы.

— Пададь на столе? Да, это ты хорошо придумала.

— Но разве тебя самого не тянет к прекрасному?

— Тянет, но я борюсь. «Борись!» — говорят во мне мои высшие инстинкты. Инстинкты сверхчеловеков. Не гитлеровских, конечно, с их мушиною легкостью бытия, настоящих сверхчеловеков, аскетов. Потому что только тот сверхчеловек, кто довольствуется самым малым. Такие люди, говорили древние греки, ближе всего к богам. Но слаб я еще, слаб. Вот купил себе не так

давно новый письменный стол. А чем плох был старый, поцарапанный, с облупившимся лаком? Чем он хуже исполнял свою функцию? Ничем. А я все-таки купил. Поцарапать его, что ли? Нацарапать «здесь был Ваня». Чтобы каждый, кто зашел бы в эту комнату и сел за этот стол, сразу же понимал, что тут живет сверхчеловек.

— Ты все это говоришь всерьез?

— Эх! — воскликнул Иван. — Конечно, не совсем всерьез. Но ведь, если вдуматься, то это очень серьезные вещи, что в моих мыслях есть резон. Красив, духовно конечно, должен быть человек, а не вещь. Вещь должна быть функциональной, только функциональной, потому что существует заговор красивых вещей против свободного человека. Заговор с целью влюбить его в красивые вещи, а потом забрать у него жизнь. Я имею в виду, забрать полноценную, наполненную человечностью жизнь, а оставить другую, поверхностную, наполненную красотой. Не до доброты человеку, когда он гонится за красотой. Но я кое-какие меры против этого заговора вещей предпринимаю. Например, видишь эту грубую дощатую кадку, а в ней кактус? Это мой вечно небритый друг Вася. Эй, Василий! Мы о тебе говорим. Слышишь? Симпатичный, правда? Так вот, это закон отрицания, по которому я живу. Эта уродливая кадка отрицает этого симпатягу Васю. Если подумать, то как жалок, как глупо суетлив человек, обставляющий квартиру новой мебелью! Нет, в квартире должно быть как в келье монаха, пусто для прихотей тела и просторно для творчества духа. Или, если угодно, такое сравнение: как в квартире гармониста, живущего по принципу: все пропью — гармонь оставлю:

Гармонь не вещь, а продолжение  
Моей мятущейся души!

Я понимаю, что все это несколько сумбурно, что тут, так сказать, больше чувств, чем головы, но из этого можно сотворить очень стройную теорию, — сказал Иван и снова выпил.

— Ты бы лучше не пил, — заметила Надежда.

— Но ведь я по-прежнему трезв?

— Ты не очень трезв, Ваня.

— Но я же трезво рассуждаю, сумбурно, но трезво.

— Просто ты над этим, видимо, много думал.

— И тебе мои думы близки?

— Во всяком случае, я тебя понимаю. Красота — это еще далеко не все. Не прав был Достоевский. Красота мир не спасает.

— Более того, красота — это мать всех преступлений, какие только есть в этом мире. Но не будем о красоте, не будем о печальном. А будем вот о чем. Раз уж я пьян, то мне сам бог велел говорить откровенно. После того, как Настя от меня ушла, я много думал о тебе. Вспоминал ту осень, тот листопад. Счастливого было время, когда я, не знаю как ты, но я не знал, что листопад и падаль — слова однокоренные.

— Не говори так.

— Счастливого было время, — продолжал Иван.

— А как же твоя Настя? Разве ты с ней не был счастлив?

— Будь проклят час, когда я ее встретил! Постой, Наденька, постой! У меня, кажется, стихи получаются!

Иван вскочил с дивана, бросился к столу и, найдя авторучку и лист бумаги, принялся что-то лихорадочно писать. Написав, он воздел глаза в потолок и со сложенными как в молитве ладонями, проговорил:

— Благодарю тебя, господи, если ты есть, за то, что по ночам в тиши я пишу стихи! Ты ведь знаешь, я всегда мечтал писать стихи! Это великое вдохновение! Это добро в чистом виде! Вот как зло уже тысячи лет не перестает обращаться в добро! Я тебе сейчас прочту, Наденька:

Будь проклят час, когда я встретил вас,  
Когда поддался злой игре воображенья.  
И, никогда не знавший пораженья,  
Я признаю его сейчас.

Ну, как тебе?

— По-моему, очень хорошие стихи. Более того, если бы ты сказал мне, что их написал, например, Пушкин, я бы поверила.

— Только этого не надо. Быть знаменитым некрасиво. Не надо: «Это написал великий Иван Шевченко, и он здесь, этот великий гений, среди нас. Похлопаем же ему, товарищи, и назовем

его именем галактику». Нет, этого не надо. Простительно только ребенку или юноше желать славы. Но взрослому человеку желать славы неприлично, это говорит о незрелости. Я долго думал над этим и понял: чем ниже человек на социальной лестнице — тем он менее честолюбив. Поэтому, если кому и надо ставить памятники, так это, например, воспитательнице в детском саду, потому что ее питает доброта, а гения — тщеславие. И памятники таким простым людям, людям без тщеславия, должны быть по всему миру, и должны быть даже выше памятника Христу в Рио-де-Жанейро. Все. Я, кажется, выдохся. Ну, и слава богу, наверное, думаешь ты, да?

— Я так не думаю, твоя речь была и от сердца, и не без мудрости. Только ты несправедлив к себе. Нет человека без некоторой толики тщеславия. Даже твоя добрая воспитательница в детском саду ее не лишена. И, может быть, даже несчастный бомж, умирающий где-нибудь под забором, шепчет пересохшими губами: «Назовите моим именем галактику».

Надежда посмотрела на часы.

— Уже слишком поздно, — сказала она. — Я пойду. С тобой, я вижу, все в порядке.

— Останься...

## ГЛАВА 34

— Ты что, не ложишься? — услышал я за спиной и повернул голову. Прессия сладко потягивалась в постели.

— Тебе приготовить кофе? — спросил я.

— Не увиливай от вопроса! — строго сказала Прессия. — Не ложишься?

— Не ложишься, — сознался я.

— Ты разве не понимаешь, что твои ночные бдения гробят твое здоровье?

— Прости, но на меня нашло вдохновение.

— Не надо мне твое «прости». Ты не маленький. Ты взрослый мужчина.

— Прости, — снова сказал я.

— Да не надо мне твое «прости»! — сказала она уже раздраженно. — Учти, если заработаешь инфаркт, я к тебе в больницу не приду. Из принципа не приду.

— Может, ты позволишь мне прочесть и этим реабилитироваться в твоих глазах?

Прессия села в постели, подложила под спину подушку и сказала:

— Ладно, валяй.

Я стал читать:

Утро выдалось солнечным, ясным. Одним из тех счастливых утр, когда солнце совсем не скрывается за облаками и, если вы счастливы, такое солнце вносит свою дополнительную лепту в ощущение вашего счастья.

Со всех сторон от корпусов психиатрической больницы по направлению к больничной кухне группами стекались психически больные люди с кастрюлями и кастрюльками, с бидонами и бидончиками.

Может быть, где-нибудь в Лондоне, где, по слухам, счастье есть, психически больные и выглядят счастливыми, но данные люди счастливыми не выглядели. Но Магдалена Шевченко на фоне своих товаров, по большей части унылых и бедно, или неряшливо, или безвкусно одетых, выглядела так, что автор уже который раз восклицает: «Как несправедлив бог! Почему одним все, а другим ничего?!». Правда, утонченный наблюдатель отметил бы, что у Магдаленки и помада чересчур яркая, и глаза слишком густо подведены, и юбка слишком коротка, что, в общем, эта хваленая Магдалена Шевченко ни дать — ни взять — вылитая шлюха. Но кто спорит? Разве не говорили то же самое герои этого романа в одной из предыдущих глав? Но, с другой стороны, знающие люди бают, что священный долг автора — любить своих героев, и автор будет свято исполнять этот священный долг. Да и без этого долга я, не знаю как вы, но я люблю Магдаленку. Я люблю даже Ивана. А ведь тебе, читатель, наверняка не по нраву этот моральный урод, такой же, впрочем, как и автор этих строк, поскольку, как и все эгоисты-писатели, игнорирует завет Канта, гласящий, что «всякая личность — само-



цель, и ни в коем случае не должна рассматриваться как средство для осуществления каких бы то ни было задач, хотя бы это были задачи всеобщего блага».

Сначала к кухне подтянулась группа, в которой были и наши хорошие знакомые: Философ и Озабоченный.

— И как же мне к ней подойти? — спрашивал Озабоченный, ставя на асфальт кастрюлю для котлет и становясь в длинную очередь. — Нельзя же ни с того ни с сего сказать: «Пошли за котельную?».

— Не знаю, не знаю. Думай сам... — сказал Философ.

— Боюсь, что откажет, что бы я ни сказал. Не вышел я ни мордой, ни ростом, ничем не вышел. Да еще этот горб...

— Не знаю, не знаю. Думай сам... — повторил Философ и, вглядываясь вдаль, добавил:

— А вот и она, Магдаленка. Вон там, видишь? Впереди с бидончиком идет? Правда, красавица?

— Красавица-то красавица, вот только боюсь, что не по Сеньке шапка... — и Озабоченный уныло вздохнул.

Скоро Магдалена к ним приблизилась, поставила свой алюминиевый бидончик на асфальт и, обмахиваясь бумажным самолетиком, точно веером, стала цепко вглядываться в еще одну группу мужчин, приближающихся с различными емкостями. Видимо, не найдя ничего достойного, она перестала всматриваться и закурила. Ни Философа, ни Озабоченного она своим вниманием так и не удостоила.

— Магдалена! — сказал Философ. — Ты меня прости за тот случай, пожалуйста.

Магдалена демонстративно отвернулась.

— Я знаю, я тебя обидел и даже унизил, но это только потому, что я испугался, и потому, что ты, Магдалена, была для меня, как я сейчас чувствую, таким дорогим и неожиданным подарком, что я просто не смог поверить, — врал обычно честный Философ. — Ты прости меня, Магдалена...

— Вы его простите, — проблеял всегда куда более смелый Озабоченный.

— Вот, познакомься с моим другом, Магдалена.

— Я и с тобой-то, типа, незнакома, — сказала Магдалена.

— Ну так давай познакомимся. Я — Олег, но меня Философом все зовут, а этого парня — Озабоченный.

— И чем он, типа, озабоченный? — усмехнулась Магдалена.

— Не знаю, — врал Философ. — Может, состоянием окружающей среды.

— Так он, типа, зеленый?

— Может, и зеленый. Пойдешь с ним?

Магдалена скользнула брезгливым взглядом по лицу и горбу Озабоченного и сказала:

— С тобой пойду, раз так. А он еще зеленый.

Философ, глядя на Озабоченного, развел руками. «Ничего не поделаешь», — говорил этот жест.

За зданием котельной, примыкавшей к зданию кухни, среди кустов обнаружился расстеленный кусок старого коричневого линолеума.

— Ложись! — приказала Магдалена.

— Как-то, извини, у тебя все быстро. А поговорить? — садясь на линолеум, сказал Философ. — Без разговора у меня может не получиться.

— А время? Типа у нас есть время на всякие разговоры, когда очередь идет.

— Нет, ты не понимаешь...

— Разве я совсем дура?

— Нет, ты не дура, но этого ты не понимаешь.

— Нет, ты все-таки считаешь меня дурой, — присаживаясь рядом, сказала Магдалена. — Прекрасно я понимаю, что есть, типа, грубые души, а есть, типа, тонкие. Ты — тонкая душа, я — грубая.

— Так ты меня прощаешь?

— Да ведь тебя не за что прощать, раз так. Раз ты хотел поговорить — давай, типа, поговорим. Только о чем? Впрочем, я, кажется, знаю. Ты, типа, должен прочитать мне какие-нибудь стишки, а потом мы должны их с тобой, типа, обсудить. Так, кажется? Так у вас, интеллигентов, принято? Ну что ж, давай, бухти мне: «Наша Таня громко плачет, уронила в речку мячик». Давай подискутируем, где здесь добро, а где зло.

— Пожалуйста, не злись.

— Да не злюсь я! — Магдалена махнула рукой. — И в природе часто самец вначале только, типа, ухаживает за самкой, так

что я не злюсь, не злюсь. Не злюсь я, потому что не ты не такой, как следует. Это я не такая, как следует. Ну да ладно, раз ты такой как следует, то и я с тобой буду, типа, такой же.

Оба сидели молча, обхватив руками колени, и оба вздрогнули, когда вдруг среди ясного неба грянул гром, и громовой же голос с неба произнес:

— Се есть дочь моя возлюбленная, ее слушай!

— Опять голоса! Опять эти чертовы голоса! — вскричала Магдалена.

— Удивительно, но я тоже слышал голос! — вскрикнул Философ.

— Что голос тебе сказал?

— Он сказал мне, что се есть дочь моя возлюбленная, ее слушай! И так четко сказал! А ведь обычно эти голоса какую-то бессмыслицу талдычат!

— Мне голос сказал то же самое! Удивительно!

— Ой, что это? Что это у тебя над головой?

— А что?

— У тебя нимб над головой!

— Ты шутишь?

— Нет, не шучу! В самом деле, в самом деле! О, Боже! Ты, наконец, позволил мне открыть твоих святых! — вскричал Философ.

— Только, пожалуйста, не так громко! — Магдалена хотела прикрыть уши, но пальцы рук коснулись чего-то мягкого и горячего, и, когда она сняла с головы это мягкое и горячее, оно действительно оказалось переливающимся всеми цветами радуги нимбом.

— Так это что же? — недоумевала она, глядя на нимб, который уже начал медленно испаряться и уноситься в небо радужным паром. — Получается, что теперь нельзя?

— Чего нельзя?

— Ничего нельзя.

## ГЛАВА 35

Из прихожей послышался звук вставляемого в замок ключа, дверь открылась и закрылась, последовал до боли зна-

комый цокот каблучков, и появилась она, Анастасия. Длинноногая, светленькая, слегка озабоченная сероглазая красавица. Была она в обтягивающем платье, подчеркивавшем изящность фигуры.

— Ты бы, ложась на диван, хоть бы тапочки снял! — сказала она укоризненно.

— Не могу, ноги мерзнут. Видимо, смерть близка.

— И это все, на что ты способен? На идиотские шуточки? Клоун.

— Это могут быть не шуточки, — возразил Иван.

— Гроб зачем-то притащил. Ты мне опять самоубийством угрожаешь? — спросила она и, открыв крышку гроба и увидев черный костюм, добавила:

— Да, клоун он и есть клоун.

— Я не угрожаю, клоун не может угрожать. У него другое амплуа. Кроме того, тебя это не удержит.

— Между прочим, в комнате уже пахнет алкоголиком.

— Это не алкоголиком, а коньяком. Я еще не успел проспиртоваться, да и не успею, уж слишком близка смерть.

— Ты бросай все-таки пить-то, — сказала Анастасия, беря вещи из шкафа и укладывая их в баул.

— Пока не могу. Дело в том, что когда я не пью, я трезв.

— И в чем тут смысл: «когда я не пью, я трезв»? Что тут умного? А впрочем — дошло. Оригинально для такой бездарности, как ты. Воруешь?

— Скорее, подворовываю. Однако и сам кое на что способен.

— А откуда у тебя такой дорогой коньяк и такие дорогие сигареты? — глядя на столик, спросила она.

— Не поверишь. Скажем, со мной заключили контракт и дали аванс. Но тот, с кем я заключил контракт, похоже, взялся не с тем иметь дело.

— И много денег дали?

— А если много, ты останешься?

— Купить меня хочешь?

— А ты продаешься?

— Продаюсь. Любая любовь — это суета, любая любовь проходит. А деньги — это уже не суета, если это большие деньги.

Деньги, если это большие деньги, — это несокрушимая стена, за которой можно укрыться от всех напастей. Деньги — это и щит, и меч, и свобода.

— Говорят, что нет ничего святого, чего не смогли бы осквернить деньги. Они и тебя осквернили, Настя.

— Ко мне это не относится, я никогда не была святой.

— Да... Ты никогда не была святой... Но — странная вещь, мне иногда кажется, что именно за абсолютную бездуховность я тебя и люблю.

— А ты духовен?

— Я духовен.

— Тогда почему пьешь?

— Ницше сказал мне, что для того, чтобы написать острую сатиру, — а я склонен к этому, — нужно основательно испортить печень. Желчи больше надо, желчи.

— А Ницше не сказал тебе, что при этом можно пропить последние мозги?

— На сей счет безмолвствовал. Правда, говорила это мне одна, эта, как ее... Все время здесь шастала туда-сюда в шлепанцах на босу ногу. Ну эта, как ее... От нее еще котлетами с чесноком пахло...

— Это говорила я, твоя бывшая жена, шут ты гороховый!

— Может быть, может быть, только я ей не поверил. Да я и Ницше не поверил бы, если бы от него котлетами с чесноком пахло.

— И это ты находишь остроумным?

— Нахожу, и даже не остроумным, а умным. Нет пророка, если от пророка пахнет чесноком.

— Тоже у кого-то украл?

— Нет, я и сам кое на что способен. Иногда я умнее Ницше. Ницше, например, говорил, что культура — это тонкая яблочная кожура над раскаленным хаосом. Но дело в том, что у некоторых эта кожура не так уж тонка, а у некоторых нет никакого хаоса.

— Ну, счастливо оставаться, пей дальше! — Анастасия закрыла баул и направилась к двери.

— Подожди, — Иван подошел к письменному столу и вытащил из него деньги. — Здесь 10000 евро. Хочу, чтобы ты от него не зависела.

— Ты это серьезно?

Она поставила баул, подошла к Ивану и взяла деньги.

— А сколько всего дали?

— Сто тысяч.

— Да, это уже деньги... Не думала... Это ж надо...

— Видишь, в меня верят.

— Это ж надо... Клянусь своим велосипедом, никогда бы не подумала... — сказала Анастасия и, кладя деньги в сумочку, добавила:

— Если ты думаешь, что я бессовестная, раз ухожу, но, тем не менее, беру у тебя эти деньги, то у меня есть оправдание. Это — плата за мои страдания и нищету.

— Про нищету — ты зря. Почти все простаки лишь кое-как перебиваются.

— Я — не все. Я не хочу перебиваться. И то, что ты дал мне эти деньги, только доказывает, что ты никогда не будешь жить хорошо. Рыцари не живут хорошо.

— То я клоун, то я рыцарь.

— Скажу так: ты — рыцарь, но если поднять забрало, то окажется, что нос и щеки у тебя размалеваны. Вернее, наоборот. Сначала ты все же клоун.

Она дошла до двери, но вдруг остановилась и, поставив баул на пол, спросила:

— Поможешь мне перевезти назад мои вещи?

— Как это назад? — Иван несколько опешил.

— Я решила к тебе вернуться.

— Когда решила, только что, что ли?

— Только что.

Иван молчал.

— Ну, что ты молчишь?

— Я боюсь, а вдруг завтра ты передумаешь?

— Скажу тебе честно: клянусь своим велосипедом, кое-какие чувства у меня к тебе остались. Может быть, это жалость, может — привычка, не знаю. Кроме того, если за каждый роман ты будешь получать по сто тысяч евро, эти чувства смогут сохраняться всю жизнь.

— Ты цинична до предела.

— Я правдива до предела. Ну, так сможешь с вещами? Что ты опять молчишь?

— Видишь ли... Я как будто связал себя некоторыми обязательствами... Я сегодня ночевал с другой женщиной... Все бы ничего, но она меня любит...

— Уж не та ли хромоножка?

— Не говори так о ней.

— Говорю как есть. Ну, давай, собирайся.

— А что скажет твой Гриша?

— Он на работе. И не важно, что он скажет. Я оставлю ему записку. Напишу, что я его недостойна.

— Ты страшный человек, Настя.

— Я знаю. И бесстрашный тоже. Давай, собирайся. Что ты телишься?

— Нет, все-таки нет. Я не буду тебе помогать.

— Хочешь, чтобы я одна поставила твою хромоножку перед фактом? Хорошо, раз ты такой чистоплюй. Ну — все. Жди.

С уходом Насти Иван встал с дивана и нервно заходил по комнате.

— Боже, боже! Как опрометчиво все получилось! Как же теперь?! — он открыл мини бар, достал из него бутылку коньяка, но, подумав, поставил ее на место со словами: — Я и вправду становлюсь алкоголиком. Но что делать, что делать?

Послышался звонок, и Иван пошел открывать дверь.

— Купила буряков, картошки, капусты и мяса! — с порога весело сказала Надежда и занесла на кухню пакеты с продуктами. — Будем борщ варить, как ты на это смотришь? Укроп еще купила, банку томатной пасты и еще кое-какую мелочь. У тебя в холодильнике — шаром покати. Хотя ты и не виноват. Ты — мужчина, мужчине это простительно. — Она посмотрела Ивану в лицо и насторожилась. — Что-то не так? У тебя такое лицо, словно ты... В воду опущенный ты какой-то. Что случилось?

— Ничего не случилось. Думаю над сюжетом романа.

— Если с такими муками пишутся книги, то я писателям не завидую, — говорила она, вынимая из пакетов продукты.

— Это не всегда так, — сказал Иван.

— А где у тебя фартук? — она огляделась. — Ах, вот. За полотенцем спрятался. Ну — все, иди. А я буду священнодействовать. Такая кость — прелесть! Наваристый борщ будет!

Иван вышел из кухни, снова открыл мини-бар, долго смотрел на такую красочную бутылку, но снова нашел себе силы противостоять искушению.

— Скотина ты, скотина... — сказал он.

— Что ты говоришь? — слышалось из кухни.

— Да так... Думаю... — громко сказал он и шепотом добавил — Скотина ты, скотина. Скотина и трус. Это твой окончательный портрет, и притом — маслом. Что же делать? А то: меньше пить надо!

Он снова открыл мини-бар, достал бутылку, отвинтил крышечку и, пройдя в ванную, стал решительно выливать коньяк в раковину.

— Дурак ты, Ницше, со своей печенью! — говорил он.

— Что ты там опять сказал?

— Я сказал, что жизнь — это акварель, попавшая под дождь, — сказал Иван.

— А ведь как поэтично сказано! Молодец, ты настоящий писатель!

— Черта с два настоящий! Это не я придумал, я пока не придумал ничего нового.

Иван прошел в кухню и выбросил пустую бутылку в мусорное ведро. Надежда стояла у стола и нарезала мясо.

— Но ведь, если не будешь в себя верить, то ничего и не получится, — сказала она. — Тренер всегда говорил нам, что если будешь твердо верить, что попадешь в кольцо, ты обязательно попадешь в кольцо. Я верила, и у меня получалось. Эх, если б не эта авария!

— Я знаю, если бы не травма, ты бы жила теперь в Германии.

— Да, мне предлагали, когда я ездила на юношеские соревнования. Но ведь в юности мы такие патриоты, пока не поймем, что родина так и норовит повернуться к тебе спиной.

— На самом деле — жопой. Не стесняйся, Надя. Скажи: «жопой», так будет честнее.

— Нет, так я не скажу.

— Почему?



— Не скажу — и все. Да ты не голодный? Ведь ты, наверное, не завтракал, потому что и хлеб, и яйца на месте, а больше у тебя ничего не было. Давай я яичницу пока приготовлю, перекусить?

— Не надо, аппетита нет.

— И все-таки ты какой-то в воду опущенный. Неужели из-за сюжета?

— Нет, не из-за сюжета, — решил, наконец, Иван. — Приходила Анастасия, моя жена.

Повисла тишина. Было слышно как, нагреваясь, шумит вода в кастрюле.

Наконец Надежда повернулась к Ивану лицом.

— Анастасия хочет вернуться к тебе? — спросила она.

— Да, она хочет вернуться.

Снова повисла тишина.

— Что ж... — сказала Надежда. — Когда она придет?

— С минуты на минуту. Тут близко.

Надежда сняла фартук и повесила его на крючок.

— Ты меня прости, но ты же все понимаешь? — сказал Иван.

— Да, я все понимаю...

Открылась входная дверь.

— Заносите и ставьте здесь, — приказала Анастасия таксисту с чемоданами.

— Надо бы добавить... — сказал тот.

— Обойдетесь! — выпроваживая рукой водителя, сказала Анастасия. — Я и так вам сверх счетчика заплатила. Ну, Иван, забирай вещи.

Из кухни вышла Надежда.

— Ты меня извини, Надя, — сказала Анастасия. — Тебя, кажется, Надей зовут? Я хочу сказать кое-что, чтобы не было недоразумений. Так вот, если Иван скажет мне сейчас, чтобы я ушла, я уйду. Решающее слово за ним.

— Не мучьте его... — сказала Надежда. — Ему, наверное, так же плохо, как и мне.

## ГЛАВА 36

— Да я сам, своими собственными ушами слышал этот громовой божий голос: «Се есть дочь моя возлюбленная, ее слушай!» — восклицал Философ.

— А может быть, это был не глас божий, а гром? — сомневался Заратуштра.

— Гром среди ясного неба? Такого не бывает!

— А то, что ты нам рассказываешь, бывает? — сомневался Художник.

— Да я клянусь!

— Это слуховые галлюцинации и больше ничего, — констатировал Художник.

— Но ведь она услышала то же самое! Как у двух разных людей в одно и то же время могут быть одинаковые слуховые галлюцинации? — воскликнул Философ.

— Но что-то никто, кроме вас двоих, этого не слышал, — усмехнулся Заратуштра. — Не потому, что я не верю в чудеса. А потому, что такое чудо невозможно. Таких безнравственных пророков не бывает. Да и никто, кроме вас, гласа этого не слышал.

— Я слышал, — сказал Озабоченный. — Не все, правда, разобрал, потому что звуки как бы наслаивались, но «дочь моя возлюбленная» разобрал.

— А громкоговоритель? Вы забыли? Над кухней висит громкоговоритель, вы забыли? — сомневался Художник. — Это по громкоговорителю что-то передавали, вот и все!

— А нимб? У нее был нимб! — не сдавался Философ.

— А вот это уж — совсем сказки! — засмеялся Заратуштра. — Если она, такая, его дочь, тогда и я, тем более, его сын. А впрочем, говорят, что все мы дети божьи.

— Все мы дети божьи, но ее бог все же выделил. Следовательно, он имеет на нее какие-то планы, решил посвятить ее жизнь какой-то высокой и священной цели? — продолжал настаивать Философ.

— Ты говоришь «какой-то», а я говорю «никакой», — сказал Художник. — Потому что от пророков никакого толку. И не пророки в этом виноваты, а люди, потому что порочны, даже самые лучшие люди, даже пророки в глубине души порочны. Но с другой стороны, если эти пороки не искоренили даже два миллиона лет человеческой эволюции, то, наверное, они нужны и важны

точно так же, как и добродетели, точно также как добру, чтобы оно называлось добром, нужно зло. Потому я, поразмыслив, говорю: да здравствует порок!

Дверь палаты резко распахнулась, и с перекошенным от злобы лицом, шаркая ногами, ворвалась врач-психиатр Маргарита Васильевна, крашенная в блондинку старуха. Следом зашла медсестра с журналом назначений и санитар Женя.

— Где Петр Нирыба? — закричала психиатр старческим дребезжащим голоском.

— Я, — отозвался Нирыба, откидывая одеяло.

— Значит это ты делал эту мерзость Высокопоставленному? И как это называется?

— Высокопоставленный сказал, что это называется «тибет»... — испуганно проблеял Нирыба.

— И тебе даже не стыдно в этом признаваться, кретин!

— Вы не должны называть меня кретином, вы — врач, — осмелился проблеять Петя.

— Это ты понимаешь, а вот то, что сделал мерзость, не понимаешь?!

— Это не мерзость, потому что Высокопоставленный сказал, что я его девушка...

— Даже если бы ты был его девушкой, это все равно было бы мерзостью! Ну — ничего! Ты у меня попляшешь! Галоперидола ему с аминазином, а корректор не давать! Он у меня попляшет! В манипуляционную его!

— Ну, соска, пошли лечиться? — сказал санитар Женя, выводя Нирыбу под руку.

— Лечиться... — грустно произнес Философ, когда они ушли. — И это называется лечением? Не понимаю, почему ее все еще не увольняют? И как она вообще столько лет удерживается на этой должности? Ведь она же не лечит. Разве она лечит? Она — гробит людей!

— Увы! Мы не имеем права голоса! — сказал Художник. — Хотя, с другой стороны, после всего, мне его не слишком жаль.

— И по мне так ему, гомику, и надо! — сказал Озабоченный и добавил: — И, кстати, это — порок. И теперь ты скажешь: «Да здравствует порок!»? А? Художник? Что же ты молчишь?

— Вполне возможно, что не всякий порок во благо. Но, с другой стороны, может быть, мы чего-то не понимаем? Может быть, гомосексуализм, как говорят по Би-би-си, да и у нас начали говорить, вовсе не порок? Может быть, Европе лучше знать? Они куда развитее. У них университеты, а у нас профтехсельхозучилища. У них заводы по производству электроники и роботов, а у нас свинарники да коровники. У них везде ровнехонький асфальт и тротуарная плитка, а у нас колдобины, а тротуарная плитка только в районах, где особняки хитропупых. Гомосексуалисты же бывают очень вежливыми и приятными людьми, да и гениями. Чайковский, Элтон Джон, Оскар Уайльд. Да много их, сейчас не упомню.

— Достоевский говорил, что нужно называть зло злом, а ты пытаешься зло оправдать! — зло заметил Озабоченный. — Асфальт далеко еще не критерий нравственности.

— Не знаю, но внешняя приятность часто говорит о внутренней красоте... А они внешне часто приятные, — держался прежнего Художник.

— Вы меня простите, уважаемые, но это пустопорожний спор, — сказал Заратуштра. — Мерзавцами бывают все, и гомосексуалисты, и нормальные. Мерзавцами бывают даже внешне приятные люди. Неужели вам неизвестен главный закон социума?

— А есть такой закон? — спросил Озабоченный.

— Что-то не слышал ничего про главный закон социума, — заинтересовался Художник. — И о чем же он гласит?

— Нет ничего невозможного, — сказал Заратуштра. — Нет, погодите, погодите... Раз нет ничего невозможного, то, может быть, Магдалена действительно... Нет, это все же невозможно. Таких безнравственных пророков не бывает.

Из коридора в палату донеслись крики:

— Плохо мне, плохо! Ох, как мне плохо, Маргарита Васильевна! Я вам клянусь, я больше не буду делать «тибет»! Дайте корректор!

— Да дайте ему, в самом деле, корректор! — послышался голос санитары. — Больно на него смотреть!

— Ты меня учить вздумал? Лучше загони этого извращенца в палату!

— Плохо мне, плохо! Если бы вы знали, как мне плохо! — запричитал Нирыба уже в палате.

— Не ори! — оборвал его Озабоченный. — Сам виноват, со-ска гребаная.

— Плохо мне, плохо, как мне плохо! — не переставал стонать Петя.

— Слезами этому горю не поможешь, — сказал санитар. — Тебе дали галоперидол с аминазином. Аминазин — это снотворное. Поэтому единственное, что тебя спасет — это лечь и, не смотря на то, что тебя подрывает бегать и кричать, постараться уснуть. Давай, раздевайся и ложись.

Нирыба, постанывая, разделся и лег в постель.

— Мама, мама, мамочка! Зачем ты так со мной, мамочка! — все еще причитал он.

— Ты заткнешься или нет?! — вскрикнул Озабоченный. — Или мне самому тебя заткнуть?!

— Посмотрел бы я на тебя, если бы тебе вкололи то же самое! — повысил на него голос санитар.

— Верно! — сказал Философ. — Знаешь ли ты, что галоперидол гестаповцы использовали вместо физической пытки? Теперь ты понимаешь, какие это муки?

— Да плевал я на его муки! — воскликнул Озабоченный.

— Значит, и ты гестаповец! — вскрикнул Философ.

— Лучше быть гестаповцем, чем уродом, — парировал Озабоченный.

— Я думал, что ты только внешне урод, — сказал Философ, — но, оказывается, ты и внутри себя тоже урод. Ты думаешь только о себе.

— Да все думают только о себе и только притворяются, что думают и о других тоже, чтобы извлечь какую-нибудь выгоду.

— Удивительно! — воскликнул Философ. — Как ты можешь! Ты, совсем недавно разглагольствовавший про совесть и честь!

— Мама, мамочка! Зачем ты со мной так!

## ГЛАВА 37

Философ и Магдалена сидели на скамейке, стоящей на дальней стороне заснеженной лужайки, метров в тридцати от неширокой асфальтовой дороги, за которой находился один из корпу-

сов психиатрической больницы. На Магдалене было скромное темное пальто, под ним — юбка до щиколоток, а на голове темный платок.

— «И сказал Господь Моисею: упорно сердце фараоново; он не хочет отпустить народ, — читала Магдалена вслух. — Пойди к фараону завтра: вот, он выйдет к воде, ты стань на пути его, на берегу реки, и жезл, который превращался в змея, возьми в руку твою,

И скажи ему: Господь, Бог евреев, послал меня сказать тебе: отпусти народ Мой, чтобы он совершил Мне служение в пустыне; но вот, ты доселе не послушался.

Так говорит Господь: из сего узнаешь, что я Господь: вот этим жезлом, который в руке моей, я ударю по воде, которая в реке, и она превратится в кровь;

И рыба в реке умрет; и река воссмердит, и Египтянам омерзительно будет пить воду из реки.

И сказал Господь Моисею: скажи Аарону: возьми жезл твой, и прости руку твою на воды Египтян: на реки их, на потоки их, на озера их и на всякоеместилище вод их; и превратятся в кровь, и будет кровь по всей земле Египетской и в деревянных и в каменных сосудах.

И сделали Моисей и Аарон, как повелел Господь. И поднял Аарон жезл, и ударил по воде речной пред глазами фараона и пред глазами рабов его, и вся вода в реке превратилась в кровь;

И рыба в реке вымерла, и река воссмердела, и Египтяне не могли пить воды из реки; и была кровь по все земле Египетской».

Магдалена подняла голову от библии и выпрямилась.

— Пока все, — сказала она. — Голос велел до сих пор читать. Типа, до двадцать второго стиха.

— Я вот что думаю, — сказал Философ, пытливо глядя на Магдалену. — Если мы такое же сделаем и вода везде воссмердит, то она воссмердит не только для фараона и египтян. То есть ошибся, для хитропурых. Она воссмердит и для нас, простаков.

— Господь, типа, усмотрит! — уверенно произнесла Магдалена.

— Я понимаю, что усмотрит, но как усмотрит?

— Не знаю. Верь — и все.

— Нет, это как-то не научно.

— Опять ты со своей, типа, наукой! Ты верь — и все!

Магдалена взгляделась вдаль и воскликнула:

— Иван идет!

— Тогда я пойду. Начнет меня угощать, а я не хочу вас объе-  
дать.

— Да не объешь ты его, он богатый!

— Все равно пойду.

— Ну, ты хоть поздоровайся с ним!

— Хорошо, поздороваюсь.

— Здравствуйте, Иван, — сказал Философ, когда Иван при-  
близился.

— Здравствуй, Олечка! Ты куда? Вкусенького разве не хо-  
чешь?

— Не хочу, я сыт.

— Да посиди с нами!

— Нет, я сыт, — и Философ удалился.

Иван вытащил из пакета большую хлопчатобумажную сал-  
фетку, расстелил ее на скамейке и вывалил на нее разнообраз-  
ную снедь.

— Спасибо, что вырвался, типа, навещать сестру, — сказала  
Магдалена, принимаясь за еду.

— Ты прости, я люблю тебя, но я существо кабинетное, тя-  
жел я на подъем.

— Давай называть вещи, типа, своими именами. Ты не каби-  
нетное существо, ты, типа, ленивое существо.

— Есть отчего облениться, — оправдывался Иван. — Ведь  
мы видимся по телефону.

— Такое общение живого общения, типа, не заменит, как не  
заменит колбасу ее изображение.

— Да, да, конечно, прости, — виновато согласился Иван.

— А колбаса вкусная!

— Вегетарианская, соевая, как ты любишь. Я на следующей  
неделе тоже постараюсь к тебе вырваться. А твой муж как? Так и  
не приходил?

— Муж объелся груш. Хотя, конечно, в том, что он так ни разу и не пришел, я сама виновата.

— А как у тебя с галлюцинациями?

— Это не галлюцинации. Мне действительно был глас божий.

— Да пойми ты, Магдаленочка, что в мире нет ничего сверхъестественного, что мир насквозь материален, что всему есть рациональное объяснение. Со мной тоже случались не совсем обычные вещи, яркие и четкие, словно явь, сны, например. Но если я лично не знаю им объяснения, это не значит, что они совсем не объяснимы. Не бывает чудес, не бывает!

— А не чудо ли то, что я вас опять нашел? — слышался голос позади, и Иван с Магдаленкой вздрогнули от неожиданности.

— Фу — напугали! — выдохнул Иван, увидев Заратуштру. — Знакомься, Магдалена. Это Ботиночкин Ботинок Ботинович. В девичестве — Заратуштра. Так он шутит. Это мой меценат, я ему по гроб обязан.

— Это правда, вы мне обязаны. И я пришел по должок.

— Но я еще не написал тот роман, еще и восьми месяцев не прошло.

— Я не про деньги. Я же не спонсор, я меценат, я это делал безвозмездно. Другой за вами должок. Вы видите эту трость? — он поднял вверх черную трость с набалдашником в виде головы змеи. — Это жезл пророка Моисея. С ним вы сможете творить чудеса. Помните про двенадцать казней египетских?

— Смутно, — сказал Иван.

— Я о них знаю, — сказала Магдалена. — После того, как мне, типа, был глас господень, я все время библию читаю. И не просто читаю, а намереваюсь, типа, проделать то же. Мне, типа, глас господень был.

— Это галлюцинации, — сказал Иван.

— Да, наверное, — сказал Заратуштра. — Ну, тогда это к делу не относится. Вы кушайте, кушайте на здоровье вашу вегетарианскую колбасу, вегетарианскую колбасу господь одобряет. Не обращайтесь на нас внимания. А вы, Иван, как придете домой,



прочтите о двенадцати казнях египетских, потому что нечто похожее вам придется проделать с Брехунцом и иже с ним с помощью этой трости. Вот возьмите ее, возьмите!

Иван взял трость.

— А теперь бросьте ее на землю.

Иван бросил трость на землю, и трость превратилась в извивающуюся змею.

— А теперь хватайте ее за хвост.

— Боязно! — сказал Иван.

— Хватайте, хватайте! Не бойтесь! Она не ядовитая!

Иван все же осмелился схватить змею за хвост, но она тут же вывернулась и цапнула его за руку. Иван ойкнул и отпустил змею.

— Дурацкие у вас фокусы, уважаемый Ботиночкин, — сказал он, высасывая выступившую кровь.

— Эх ты, Фома неверующий! — укоризненно сказала Магдалена, не колеблясь, схватила змею за хвост, и та тут же вновь превратилась в трость.

Заратуштра открыл в изумлении рот.

— Так это вы пророк? — удивленно произнес он. — Так это в вас попал второй самолетик?

— Самолетик? Да, был какой-то бумажный самолетик, я его использовала как веер, он изнашивался, и я его выбросила. А еще голос был: «Се есть дочь моя возлюбленная». Только так, как в библии, не получится. В библии Моисей с Аароном ходили к фараону. Но меня, во-первых, никто к Брехунцу, типа, не пустит. А во-вторых, если мне удастся дозвониться в его канцелярию и начать его, типа, шантажировать, меня вычислят, посадят, а потом, в лучшем случае, отправят на урановые рудники. Мне, чтобы шантажировать гетмана, нужно надежное укромное место.

Вдруг среди ясного неба раздался гром, и громоподобно прозвучало:

— Дочь моя возлюбленная! Предлагаю тебе летающий паровоз!

— Это бред... — прошептал Иван. — Со мной самый настоящий бред... Бред наяву...

— Придется поверить, что это вовсе не бред, — сказал Заратуштра, смущенно чеша затылок...

## ГЛАВА 38

Гороховый Суп спустил ноги с кровати, в синем свете дежурной лампы нашарил на полу тапочки и с полузакрытыми глазами пошаркал к примыкающему к палате туалету, тоже освещенному синим светом. Он помочился, все так же с полузакрытыми глазами, чтобы сберечь полусонное состояние, пополелся обратно, как вдруг что-то большое и темное, почему-то закрывавшее половину окна с решеткой, вдруг оторвалось от решетки и рухнуло на пол. Гороховый Суп от испуга отпрянул, глаза его широко открылись, он сразу понял, что произошло, и с криком: «Нирыба повесился!» — бросился в палату.

Палата проснулась не сразу. Кто-то еще продолжал спать, кто-то приподнялся в постели, кто-то сонно тер глаза. Гороховый Суп выбежал из палаты и снова закричал: «Нирыба повесился!».

Дремавший сидя на топчане у палаты санитар Женя проснулся и вскочил.

— Что ты кричишь? — спросил он.

— Там, там! — тыкал пальцем в дверной проем Гороховый Суп. — Там Нирыба повесился.

Санитар Женя бросился в палату.

Нирыба лежал на полу лицом вниз. Женя присел на корточки. Шея Нирыбы была стянута оборванной петлей, сделанной, по-видимому, из шнурков кроссовок.

Женя освободил шею от петли, обнажив глубокую темноватую борозду, и, пытаясь нащупать пульс, крикнул:

— Беги, скажи дежурной сестре. Хотя — нет, я сам. Он все равно уже холодный. Тут уже искусственное дыхание не поможет.

Все больные палаты были уже на ногах и толпились у двери туалета, так что Жене пришлось сквозь них пробираться. Все молчали, пока Философ не сказал:

— Отмучался, бедный...

— Да, отмучился... — повторил Художник.

— Все маму звал: «Мама, мама, зачем ты со мной так!».

— Ну, так она же свято верила Маргарите Васильевне, что ему требуется именно такое радикальное лечение! — возмущенно проговорил Художник.

— Неужели этой гадине все сойдет с рук? — сказал Философ. — Я имею в виду Маргариту.

— Как это ни печально, но сойдет, — сказал Художник.

— Мы не должны позволить, чтобы сошло с рук, — сказал Озабоченный.

— Тебе-то что? Ты его не любил, — заметил Художник.

— Просто меня его нытье раздражало. Но теперь — совсем другое дело. Смерти он не заслуживал.

— Да, — сказал Художник. — Хоть и был урод, но смерти не заслуживал.

Вспыхнул свет ламп дневного света, и в палату в сопровождении медсестры, санитары Жени и еще двух дюжих санитаров, кативших носилки на колесиках, вошел молодой врач. Он, с помощью санитары, перевернул тело на спину, пощупал лоб, заглянул в глаза, затем осмотрел пальцы рук и, наконец, констатировал:

— Типичная асфиксия. Тут и специалистом не нужно быть.

— А откуда такая вонь? — поморщился один из санитаров.

— Он обкакался, да еще и обмочился, наверное, — сказал врач. — При асфиксии такое бывает: Судя по всему, точно, конечно, не скажу, но он уже часа три как умер. В морге точнее скажут. Я психиатр, а не патологоанатом. Ну, забирайте его.

Когда Женя закрыл за траурной процессией дверь и тоже ушел, Озабоченный повторил:

— Нет, не заслуживал он этого, — и добавил: — Мы не можем позволить, чтобы это сошло ей с рук.

— А что ты сделаешь? — спросил Философ. — Устроишь ради него голодовку?

— А это мысль... — сказал Озабоченный.

— Глупая затея! — поморщился Художник. — Нас будут вылавливать по одному и кормить через зонд.

— Ты не прав, Художник. Если забаррикадироваться, то не выловят, — возразил Озабоченный.

— Нет, разумнее попробовать написать коллективную жалобу главврачу. Может быть, ее хотя бы уволят, — сказал Художник.

— Ее судить надо, — сказал Философ.

— Судить ее, положим, не будут. Потому что дураки-то мы, а не она дура, а вот уволить могут, — сказал Художник.

— Не уволят! — воскликнул Озабоченный. — Ни за что не уволят!

— Почему ты так уверен? — спросил Художник.

— Как фамилия Маргариты? — спросил в ответ Озабоченный.

— Резниченко.

— А как фамилия главврача?

— Не знаю.

— А надо знать. Тоже Резниченко.

— Так они что, родственники? — спросил Художник.

— Она его мать.

— Тогда придется нам смириться, — сказал Художник.

— Не обязательно, — возразил Философ. — Можно позвонить в Отдел Ропота, объяснить все подробно, рассказать, почему мы объявили голодовку, и Отдел Ропота может раздуть такой скандал! Они заботятся о простакх.

— Ну, положим, это не забота, а показуха, но шансы есть, — согласился Художник.

— А без голодовки нельзя? — как-то жалобно спросил Гороховый Суп.

— Без голодовки скандала не будет, — сказал Художник.

— А долго будем голодать? — спросил Гороховый Суп.

— До победного конца! — сказал Художник.

— Не бойся, Гороховый Суп, — усмехнулся Философ. — Человек может спокойно прожить без пищи месяц. А ты, как толстый, и два проживешь. Это нам тяжело придется. Где толстый сохнет, худой сдохнет. Ну, кто еще боится голодать? Говорите сразу! — он обвел всех глазами.

— Надо держаться, — сказал Озабоченный. — Иначе с любым из нас может такое случиться. Даже с тем, у кого врач Сергей Викторович.

— Да, Сергей Викторович хоть и хороший человек, а против Маргариты не пойдет, — сказал Художник.

— Ну что, будем держаться? — гнул свою линию Озабоченный.

Послышалась разноголосица:

— Да, будем... Придется... Да, ничего не поделаешь, ведь с каждым может такое случиться.

— А все ли выдержат? — спросил Художник.

— А знаешь, как говорил Наполеон? Вяжемся в драку, а там видно будет! — сказал Озабоченный.

Давид Давидович, все это время молча сидевший на своей кровати, вдруг вскочил, и энергично размахивая над головой сжатыми в кулаки руками, закричал:

— Вот это по-нашему, товарищи пролетарии! Сплоченность — это по-нашему! «Нам ли растекаться слезной лужею?» На баррикады, товарищи декабристы, на баррикады!

— Почему декабристы? — спросил Художник.

— Ну как же, как же! Сейчас же декабрь месяц!

## ГЛАВА 39

Игорь с Людой сидели за столиком и попивали из бокалов. Перед ними стояли бутылка шампанского, ваза с апельсинами и лежала коробка шоколадных конфет.

— Поспешила ты замуж, Люда, поспешила, — горько говорил Игорь.

— Возраст, Игорь. Мне как-никак тридцать три года.

— Это не возраст, — возразил Игорь.

— Ну — не знаю... Хотелось семейного уюта. Детей...

— А он-то, твой, хоть хороший человек?

— Хороший, Игорь. Только скучно мне с ним. Хочется чего-то другого, откровенно говоря. Но разве одна я такая шлюха? Семейная жизнь либо скучна, либо несчастна. Несчастлива, когда разлюбили тебя, а скучна, когда разлюбила ты или когда безразличие взаимно.

— Так брось его.

— Он меня любит. Будет, не дай бог, мучиться.

— А ты не мучаешься с ним?

— Нет. Хотя и любви нет, а не мучаюсь. Во всяком случае, он не пьет. Да и то: если даже и любишь, то годика через три вся любовь, если ее не подпитывает ревность, куда-то улетучивается. Так что же? Искать новую любовь или, что разумнее, постараться стать друг другу другом, раз любовь все равно улетучивается.

— У меня к тебе не улетучилась.

— Это потому, что мы не живем вместе.

— Ты думаешь?

— Я уверена. Такие уж мы, люди...

Зазвонил телефон, и Игорь взял трубку.

— Алло, — сказал он.

— Здравствуй, Игорь! Это я, Герда! Зайти к тебе хочу. Помнишь, ты говорил, что ты не делец, но знаешь одного дельца?

— Помню.

— Так вот: мне нужен твой делец. Можно к тебе зайти?

— Заходи. Номер квартиры ты помнишь?

— Помню.

— Заходи.

— Кто это звонил? — спросила Люда.

— Так, одна знакомая. Герда.

— Имя редкое. Уж не наша ли официантка?

— Какая еще официантка?

— Такая темноволосая и синеглазая, и без макияжа?

— Насчет макияжа не скажу, но да, темноволосая и синеглазая.

— Ей лет двадцать пять на вид?

— Вроде.

— Точно, наша Герда. Может, мне уйти? Она же знает, что я замужем. И тут вдруг наедине с мужчиной.

— Что? Доложит твоему мужу?

— Нет, конечно. Но я веду себя так же, как вела себя Анастасия по отношению к Ивану. Осуждала ее, а сама...

— А с чего она вдруг возьмет, что мы любовники?

— Это же ясно.

— Вовсе не ясно.

Раздался звонок в дверь.

— Быстро же она, — сказал Игорь и пошел открывать.

— Я так быстро, — входя, говорила Герда, — потому что была неподалеку, я по мобильному звонила. Так как насчет дельца?

— Хорошо. Я прям сейчас и позвоню ему. Только не ты, а я должен картошку покупать. Чужим Мотя не поверит. Только чего мы стоим в прихожей? Иди в комнату.

Герда прошла и, увидев Люду, в удивлении остановилась.

— Ты? — сказала она.

— Я, — сказала Люда. — Не ожидала? Да ты садись, бери конфеты. Если хочешь, шампанского с нами выпей.

— Нет. Ты же знаешь, что я не пью спиртного. Я после него плохо сплю.

— Ну, бокал шампанского не повредит.

— Нет.

— Ну, так мне звонить? — спросил Игорь.

— Звони.

— Тогда помолчите, — Игорь набрал номер. — Мотя? Это ты?

— Я, — слышалось в трубке.

— Я насчет картошки звоню. Как там, можно?

— Попробуем.

— Сколько будет стоить?

— Две тысячи евро.

— У тебя есть две тысячи евро? — спросил Игорь Герду.

— Найдется, — ответила она.

— Так когда можно приехать?

— Завтра. Часиков в десять.

— Хорошо, — сказал Игорь и положил трубку.

— О чем это вы там темните? — спросила Люда.

— Тебе лучше не знать. Меньше знаешь — крепче спишь, — сказал Игорь

— Отлично! — обрадовалась Герда. — С картошкой мы решили. Как поживает Сергей?

— Серый-то? Не знаю. Он — вор. Подлец он. Я теперь понял, что некому было, кроме него, у меня деньги украсть. И он, такой подлец, тебе нужен?

— И он мне нужен.

— Тогда ты по адресу. Он сказал, что полжизни отдал бы, чтобы переспать с тобой.

— Это делу не помеха, — сказала Герда.

## ГЛАВА 40

Иван сидел у подоконника, на котором стояла початая бутылка коньяка и рюмка, и глядел в вечернее окно.

— Вот и поверил я, что бог есть. Невозможно было не поверить. Так что ж? Стало легче? Определенно легче. Так почему же мне по-прежнему нравится звать смерть?

Зову я смерть. Мне видеть невтерпеж  
Достоинство, что просит подаянье,  
Над простотой глумящуюся ложь,  
Ничтожество в роскошном одеянье...

На несколько секунд он замолчал, потом продолжил:

И совершенству ложный приговор,  
И девственность, поруганную грубо...

Нам не жить друг без друга. Хотя, ты, конечно, без меня проживешь, а вот я без тебя... Нет, не покончу самоубийством, конечно. Я вечен, а потому это не решит проблемы, но снова затоскую. Да, женщина, красивая женщина, страшно приятное, но и страшно коварное животное.

— Что ты там бормочешь, Горацио? — из другой комнаты спросила Анастасия, в одном нижнем белье роаясь в книжный полках.

— Я думаю! — крикнул Иван и добавил шепотом: — Опять какой-то Горацио... Вот уже три месяца какой-то Горацио.

— Ты лучше не думай, тебе сейчас вредно думать! — подходить к дверному проему, говорила Анастасия. — У тебя сейчас мысли набекрень после пары рюмашек. Мне вот тоже бывает тоскливо, но я же не заливаю тоску коньяком? Я стараюсь развеселить себя или отвлечься естественным образом. Может, если б заливала, у меня тоже все мысли были набекрень.

— Не преувеличивай, я выпил всего две рюмки. Я человек с тормозами. И потом, что здесь набекрень? Разве не правда, что женщина очень приятное, но и очень коварное животное?



— Мужчины тоже бывают очень приятными, но и очень коварными животными, — сказала Анастасия и снова ушла в соседнюю комнату.

— Я со своей мужской колокольни смотрю. Мне мужчина в сексуальном плане ничем не угрожает, потому что он мне в этом плане неприятное животное. А женщина — очень приятное животное. Как кошка. И надо, чтобы она всегда оставалась просто приятным животным. Просто кошкой. Сдерживать себя надо. Ну погладил раз, другой — и отойди от беды подальше. Так нет же, начинаешь ее целовать, обнимать. И поначалу вроде ничего страшного, но потом... Попробуй потом отвяжись. Наркотик, очень тяжелый наркотик. Тяжелее героина. Поэтому женщин надо запретить.

— Что ты там опять запрещаешь? — крикнула Анастасия.

— Я говорю, что ты, Анастасия — очень тяжелый наркотик, и что тебя надо запретить.

— Громче говори, я не слышу!

— Я говорю: «Зову я смерть»!

— Если ты не перестанешь это повторять, тебе не нужно будет кончать жизнь самоубийством. Я тебя сама убью.

— Интересно, почему, когда я понимаю, что другому тоже тошно, мне становится легче? Означает ли это, что я мерзавец, каких свет не видел, потому что получается, что я желаю людям зла. Но ведь из зла, говорят, выходит добро. Больше, говорят, ему неоткуда выходить?

Анастасия снова вышла из соседней комнаты.

— Да где же наш Кандинский? — спросила она.

— Не смущай меня, — сказал Иван.

— В каком смысле?

— В смысле нижнего белья. Оденься.

Анастасия стала надевать халат.

— Ты вспомни, Ваня, — говорила она. — Может, это ты его куда-то заныкал?

— А зачем он тебе?

— Для разговоров с умными людьми.

Она снова пошла к книжным полкам, громко говоря:

— Хотя ты и называешь клубящихся мужчин бездельниками, а женщин проститутками, не все там бездельники и проститутки, встречаются умные, читающие люди. Забредают. Надо же как-то поддерживать разговор или пыль в глаза пустить. Тебе не пустишь, ты меня знаешь как облупленную. Ах, вот он! Я думала, что это «Сальвадор Дали» стоит, а это «Кандинский».

Она вышла из комнаты, села с книгой на диван и спросила:

— Тебе нравится Кандинский?

— Я этих абстракционистов боюсь как огня. Я их не понимаю. Это тебе хорошо, ты умная. Вот только как-то странно ты умная. У тебя как будто две головы: одна для разговоров с Кандинскими, а другая — с Танями да Манями, с этим их: «Ой, какие симпатичные рюшечки! Ой, какие миленькие кармашки! Ой, какие оригинальные кнопочки!». Удавиться от таких разговоров хочется.

— Ты ничего такого никогда не сделаешь, ты просто, как и Шекспир, нытик. Ну? Признайся себе, что ты нытик.

— Я нытик, — согласился Иван. — Но почему Шекспиру можно ныть, а мне нельзя?

— Потому что Шекспир был гениально и всегда о чем-то новом. А ты талдычишь все время одно и то же. Я твое «зову я смерть» слышу чуть ли не каждый день. Смени пластинку!

— Согласен, сменю. Тогда вот о чем. Ты никогда не думала, что мы неправильно живем, потому что мы к тридцати четырем годам не успели ни посадить дерево, ни построить дом, ни завести сына или дочь? Если интеллект передается от матери, то ребенок у нас родится нормальный, двухголовый.

— Я не собираюсь рожать будущего гомосексуалиста, мне это противно.

— И что же, по-твоему, наш сын обязательно родится гомосексуалистом?

— Ты посмотри на банер, который висит на главной площади страны!

— А что там висит, что-то не припомню...

— Двое целующихся мужчин и надпись: «Мы любим друг друга, а вы?».

— Такое, если ребенок родится с нормальной ориентацией, на него не подействует.

— А если подействует?

— Я бы смирился с этим. А впрочем — уже поздно. Зову я смерть.

— Между прочим, этот сонет запрещен.

— Но ведь уже позволено роптать?

— Но не бунтовать. Потому-то шестьдесят шестой сонет и запрещен. Своей моралью он угрожает нашим ничтожествам в роскошных одеяниях, называющихся хитропупыми. Разве ты сам не чувствуешь?

— Я не чувствую.

Иван включил радио, по которому передавали:

— Оглашаем очередной список возможных врагов Великого Гетмана Брехунца: Леонид Мережко, Петр Наливайченко, Семен Подопригора, Максим Оговоренный. Упомянутым особам следует немедленно явиться в ближайшее отделение Службы Безопасности для проверки на детекторе лжи.

— Сволочи! — выругался Иван и выключил радио.

— Нам бы с тобой поменьше болтать надо, чтобы не очутиться в подобном списке.

— Говорят, уже позволено роптать, — сказал Иван.

— Лучше не роптать.

— Можно и пороптать. У нас есть деньги на взятку.

— Не так много осталось, — сказала Анастасия.

— Но двадцать пять тысяч-то найдется?

— Больше найдется. Но все равно лучше поменьше молоть языком.

Анастасия посмотрела на часы, отложила книгу, подошла к платяному шкафу и стала перебирать одежду на плечиках.

— Как ты думаешь, это не пошло, надевать розовую юбку под розовый велосипед?

— Розовый велосипед — уже пошлость. А юбка... Я бы вообще запретил женщинам носить короткие юбки, чтобы не смущать мужчин. И просто красота губительна, а такая — тем более.

— А в чем ходить? — все-таки надевая юбку, спросила Анастасия.

— Зимой в ватных штанах и кирзовых сапогах, а летом в рабочих брюках и галошах с портянками. Магомеда на вас нет.

— О Боже! С каким дремучим динозавром я живу!

— Вот были бы у тебя уродливые ноги, чтобы мужчины смотрели на них с отвращением, тогда — да, тогда носи на здоровье такие ноги.

— Нет. Под розовый велосипед будет пошловато, — произнесла Анастасия, глядя в зеркало. — Буду как обыкновенная простачка. — Все равно я настроена оптимистично, — снимая юбку, продолжила она. — Китайцы говорят, что если достаточно долго сидеть на берегу реки, сможешь увидеть труп проплывающего врага. Не бывает вечных режимов. Конечно, хорошо бы было, если бы режим рухнул уже сегодня или завтра. Но даже если он рухнет через двести, триста, тысячу лет, все равно — это прекрасно!

— После того, как наши косточки давно сгниют? Ты издеваешься?

— Я просто пытаюсь тебя и себя подбодрить.

— Но звучит как издевательство. Через тысячу лет, когда наши косточки сгниют, — это издевательство. Ты как Чехов. Ненавижу его! Повеситься хочется, когда его читаешь! У него тоже все хорошее только через тысячу лет.

— Тебе с твоей депрессией давно пора к психиатру.

— Моя депрессия неизлечима, потому что она не органическая, не моя химия. У моей депрессии есть почва. Помнишь, как в «Гамлете»? «А на какой же почве? — Да на нашей, датской».

Анастасия подошла с синим платьем к зеркалу.

— А может синее надеть? Синяя ночь, синее платье. Нет, что-то я не то говорю. Это — поэзия. Ей нельзя руководствоваться, потому что жизнь — это всегда проза.

Она вынула из шкафа черное платье.

— Кажется, подойдет. Как ты думаешь?

— Подойдет, только не надевай позолоченный крестик на цепочке. Надень лучше что-нибудь серебряное. Золото — это пошло.

— С чем-нибудь серебряным я буду похожа на гота. Нет, надену что-нибудь позолоченное.

Надев платье, она нашла в шкатулке позолоченную цепочку с крестиком, надела ее и снова подошла к зеркалу.

— Интересно, куда это ты на ночь глядя?

— Вроде ты не знаешь, что я пишу о ночной жизни города!

— Мне просто интересно, кто такой Горацио.

— Горацио — миллионер и пока владелец половины ночных клубов города. Вот кто такой Горацио.

— Почему пока?

— Потому что он хочет их продать.

Она чуть повернулась к зеркалу, чтобы оглядеть себя сзади, потом снова вернула прежнюю позу и, довольно улыбнувшись, спросила:

— Ну как? Я красивая?

Иван тяжело вздохнул и сказал:

— К сожалению, удивительно красивая...

— Ну что ж, пойду тогда спасать мир.

Она подошла к входной двери, обернулась, сказала: «закрой за мной» и добавила:

— Да, Ваня. Прими душ и надень чистое белье. Я постель сменила.

— Душ? Горячая вода — это же так дорого...

— На чистоте не экономят.

— Я, может быть, не хочу тебя с себя смывать...

— Это поэзия, а жизнь — это всегда проза. Прими душ, а когда ляжешь спать, держи руки на одеяле.

— Как это пошло. Сказала бы лучше: не скучай без меня.

— «Держи руки на одеяле» и «не скучай без меня» — это одно и то же.

## ГЛАВА 41

Надежда ужинала, когда раздался звонок в дверь. В глазок был виден лысый бородатый мужчина в модных затемненных очках. В одной руке у него был букет белых роз, в другой — скрипичный футляр.

— Здравствуйте, Наденька! — сказал он. — Вот, цветы вам принес.

Он протянул букет.

— Ой! — воскликнула Надежда. — Я вас, Лекрыс, не узнала! Эта борода и очки. Борода вам так идет! И лысину не скрываете. Нет, вам так намного лучше! Прямо мачо. Давайте цветы. Да вы проходите, проходите!

Она посторонилась, и Лекрыс вошел.

— Как ваша бессонница поживает? Не мучает?

— Пришлось все же к психиатру обратиться за транквилизатором. Помогло.

— Рада за вас. Да вы в комнату проходите, а то — присоединяйтесь ко мне ужинать. Жареную картошку любите?

— Спасибо, Наденька. Только не беспокойтесь, я ужинал.

— Тогда я сделаю вам кофе. Вы растворимый пьете?

— Нет, ничего не надо. Вы, пожалуйста, не спешите мне угождать. Вы ужинайте, ужинайте на здоровье. А я пока так посижу. Я вот, — он оглядел комнату, — глянцево-журналы посмотрю.

— Они старые. Я уже давно их не покупаю. А не выбрасываю потому, что все собираюсь делать коллажи. Я раньше делала. Это так увлекает! Это почти творчество!

Надежда ушла на кухню, а Лекрыс, положив на журнальный столик футляр со скрипкой, прошелся по комнате и остановился у фотографии на одной из книжных полок. На фотографии была улыбающаяся Надежда в баскетбольной форме и с мячом в руках. Рядом лицом вниз лежала еще одна рамка с фотографией. Лекрыс поднял ее. На ней Иван обнимал Надежду за талию, оба при этом смеялись. По всему видно было, что в момент фотографирования их кто-то здорово рассмешил. Иван хоть и был немало роста, но здесь он казался ниже Надежды сантиметра на три. Пслышались шаги, и Лекрыс поспешно вернул фотографию в прежнее положение.

— Вы, я вижу по футляру, сыграть что-то хотите? — спросила Надежда, поставила на столик цветы в вазе и села на диван.

— Да, Наденька. Только вы не беспокойтесь, я уже неплохо играю, не как раньше, я научился, — вынимая скрипку из футляра, говорил Лекрыс. — Правда, правда. Вы сейчас удостоверитесь.

Лекрыс как следует устроил скрипку на плече и проиграл мелодию.

— Чье это такое трогательное? — спросила Надежда.

— Мое, — сказал Лекрыс.

— Вы — молодец, замечательная мелодия, и вы ее так чисто вывели.

— Я теперь играю чисто.

— Я когда слушала, мне подумалось, что на эту мелодию могут лечь такие стихи. Вот послушайте, — она запела:

Кажутся порой, в небе над тобой  
Черными, как боль, тучи.  
Тучи — это ложь, просто будет дождь.  
После дождика всегда лучше.

— Ну давайте же, вступайте!

Не врачует боль даже алкоголь.  
Попусту не гробь печень!  
Лучше песнь спой, и забудешь боль,  
Песня добрая всегда лечит.

Они приноровились друг к другу, и последний куплет прозвучал уже вполне слажено:

Больно, ну и пусть, плодотворна грусть,  
Не кляни свою долю.  
Тот не человек, не был им вовек,  
Если не был никогда болен.

— По-моему — хорошо у нас получилось! — весело сказала Надежда.

— По-моему, тоже. Вот только неправда это.

— Что неправда? — спросила Надежда.

— Что грусть плодотворна. Это радость плодотворна. А, впрочем, — не знаю, я не творец. Я среднестатистический нуль без палочки. Я, как и подавляющее большинство людей, — червяк.

— Люди — не червяки.

— Может быть, но только в свободной стране.

— В тоталитарном государстве тоже можно не быть червяком. Если есть стремление совершенствовать душу — вы уже не червяк. А вы — совершенствуете, стремитесь стать лучше. Я знаю, вы не верите в бога, но, по-моему, богу все равно, верующий вы или неверующий. Лишь бы человек был хороший. А вы стремитесь быть хорошим. Кормите собачек, кошечек. Играете на скрипке.

— Но я не Иван, во мне нет никаких талантов. А что мелодию эту сочинил, так это в кои-то веки. Это случайно. С профессиональными композиторами я конкурировать не смогу.

— У нас профессиональные композиторы бывают и без таланта.

— Это верно. Но у них есть основное: музыкальное образование и умение себя продать. Нет, путь на эстраду мне заказан.

— Мне не совсем понятны ваши переживания по этому поводу, потому что вы врач, вы по-настоящему VIP, *вери импотент пёсен*. Вы очень, очень важная персона, если, конечно, вы хороший врач.

— Свою работу я делаю добросовестно. Я вообще очень добросовестный и терпеливый человек.

— Тогда вы должны быть уже этим довольны.

— Доволен? Да, доволен. Но счастлив ли? Нет. Конечно, удовольствие от хорошо сделанной работы есть. Но счастья нет.

— А разве человек рожден для счастья? Для жизни, а там как получится.

— Нет, все гораздо хуже, Наденька. Большинство людей рождено для пустоты, которую они заполняют суетой. Правда, эту суету они называют жизнью, но, по-моему, полноценной жизнью эту суету можно назвать только с большой натяжкой. Хотя, конечно, счастье и без творчества бывает. И мне иногда кажется, что я тоже могу быть счастлив. Помните легенду про рай, что я вам рассказывал? Помните?

— Помню. Грустна эта легенда.

— И все-таки там есть одна привлекательная мысль, которую сразу-то и не разглядишь.

— Какая же? Жизнь — это поиски потерянного рая? — спросила Надежда.



— И это тоже, но еще то, что они отправились искать новый рай вдвоем. Не поодиночке, заметьте, а вдвоем. Вдвоем легче его найти.

— Сартр сказал, что ад — это другие.

— Но кто-то не менее мудрый сказал, что ад — это когда других нет, — сказал Лекрыс.

— Одна глубокая истина против другой глубокой истины. В какую верить?

— В ту, что ко времени и ближе к сердцу, — сказал Лекрыс.

— Сердце переменчиво.

— Может быть, и ваше сердце ко мне переменялось? Вы спросили, как у меня со сном... Вы вспоминали меня?

— Вспоминала...

— И какой я был в воспоминаниях, не жалкий?

— Грустный вы были.

— А сейчас?

— Да и сейчас вы немного грустный. Но вы так внешне преобразились... Борода, модные очки, современная одежда... Туфли, смотрю, блестят от крема.

— У меня они и тогда блестели.

— Да? Я не заметила.

— Это потому, что я был вам не интересен как мужчина. Пустым местом я был для вас. Нет, что-то я далеко зашел, сказав, что был. И есть.

— Неправильно вы думаете. Мне нравится, что вы кошечек, собачек подкармливаете. У вас добрая душа.

— За добрую душу не любят.

— Вернее сказать, что подавляющее большинство в добрую душу не влюбляются, — поправила Надежда, — но любить, после того как появилась симпатия, — любят. Особенно на фоне других достоинств.

— Других достоинств у меня нет.

— Почему же нет? Вы теперь симпатичный.

— А давайте тогда, раз уж я стал симпатичным, назначим с вами встречу. По науке через четыре дня. Через неделю будет поздно. Мой образ мачо может припасть серой и скучной будничной пылью. Как вам такое предложение? По сердцу?

— Скорее, по душе.  
— Так вы согласны?  
— Вы позвоните мне прежде...  
— Как бы вы ни решили, я все равно буду вас любить, Надя.  
— Ну зачем вы так... Нельзя так...  
— Да я знаю, что нельзя так сразу. Но я не тот человек, чтоб играть. Такой уж я. Это, конечно, плохо...  
— Да. Искренность — палка о двух концах... Но вы позвоните...

## ГЛАВА 42

— Вот, Горацио. Это и есть мой дом, — глядя из Мерседеса, сказала Анастасия щегольски одетому среднего роста брюнету. — А вон те два окна от угла на предпоследнем этаже — моя квартира.

— А бывший муж не приходит?

— Не придет. Он в Конотоп к родителям уехал. Это дня на три. Ну? Пошли, если хочешь?

— Пошли, помогу тебе любимый вещи нести. Только бери самый любимый.

Они вошли в подъезд, подошли к размалеванным и поцарапанным дверям лифта, и Анастасия нажала на кнопку вызова.

— Какие вы вандалы! — брезгливо оглядываясь вокруг, сказал Горацио.

— Это от бедности. Вандализм — он ведь от бедности и беспросветности.

— Нет, не от бедности, от невежества.

— Нет, все же от бедности, — возразила Анастасия. — У хитропупых не так.

Подошел лифт. Оба вошли в размалеванную и поцарапанную кабину лифта, которую Горацио оглядел все с той же брезгливостью.

— От бедности и беспросветности, — повторила Анастасия, нажимая на кнопку. — Все это от бедности и беспросветности. Но бывает и хуже.

— Да, в Африке, — сказал Горацио.

— У вас разве такого не бывает? — спросила Анастасия.

— Бывает, но мало-мало, — ответил Горацио.

— А с языком у меня в Риме проблем не будет?

— Ты же знаешь английский, поэтому не будет. У нас все знать английский. А итальянский потом выучить.

— Ты знаешь, Горацио, мне иногда кажется, что все это мне только снится, просто не верится, что я скоро буду жить в Италии. Это такая древняя культура! Мы, по сравнению с вами, — дикари. Только что с деревьев слезли, по сравнению с вами.

Лифт остановился, они вышли и подошли к дверям квартиры.

— У вас даже номера на двери нет, — заметил Горацио.

— Я же тебе говорила, что мой Иван очень ленивый, — открывая ключом дверь, сказала Анастасия.

— Не говори «мой». Ты же с ним не спать?

— Не сплю. Он на этом диване спит, а я в спальне на кровати.

— Тесновато у вас, — оглядывая комнату, сказал Горацио.

Заскрежетал замок, и через мгновение в квартиру вошел Иван. При виде Горацио его глаза расширились от удивления, но он быстро нашелся и сказал:

— Здравствуйте.

— Ты почему не в Конотопе? — спросила Анастасия, пряча глаза.

— Решил, что лучше сходить к психиатру, — сказал Иван и несколько невежливо добавил:

— Кто это?

— Я — Горацио. Вам обо мне Настя должна была рассказывать. Разве не рассказывать хоть мало-мало на кого она решила жениться.

— Видимо так мало-мало рассказывала, что я и не упомяну.

— Я — Горацио Лох, — полностью представился Горацио и поклонился. — Я, собственно, помочь вещи забрать. Вот я зачем.

Иван молча подошел к окну, стал смотреть в него, а потом, повернув голову, произнес:

Зачем ты здесь, Горацио, я знаю.

Пришел ты, верно, сообщить, что Клавдий будет жить,

И будут жить бедняги Розенкранцы,  
И Гильденстерны тоже будут жить.  
Смешно, Горацио, для Гамлета не ново,  
У Гильденстерна есть коза, у Клавдия — корова.  
Протянут как-нибудь.  
А Розенкранц... Он был здесь и сказал мне «До свидания».  
Я полагаю, Розенкранц уже не в Дании.  
И ты езжай, тебя здесь Теодор научит пьянству.

— Ты хоть при Горацио не придуривайся, — сказала Анастасия.

— Между прочим — это стихи, а стихи — это всегда святое. А что по поводу Лоха — это вы зря. Зря вы так о себе уничижительно. Вы далеко не лох. Лох тут я. Поздравляю.

— И вас с наступающим вас праздником! — сказал Горацио.

— С каким?

— С Днем рождения Первый Великий Гетман.

— Спасибо, только лучше бы он не родился.

— Ну — ропщите, ропщите. Роптать позволено. Может быть, как у вас принят, выпить по рюмке за знакомство?

— Выпить? Да, пожалуй, надо выпить.

Иван вынул из мини-бара коньяк, три стакана и налил каждому понемногу.

— За вас, Горацио.

— Почему именно за меня? Давайте выпить за здоровье Первый Великий Гетман? У него же день рождения?

— И все же законы гостеприимства велят выпить за вас.

Иван выпил свою порцию. Горацио же с Анастасией только пригубили.

— Я первым у нее был, — сказал Иван, наливая второй стакан.

Горацио понимающе кивнул, а Анастасия усмехнулась.

— Это после меня уже рота солдат повалила.

— Да что ты мелешь! — закричала Анастасия.

— Ну, насчет роты — это я хватил, но двое солдат действительно были.

— Да что ты несешь! — вскричала Анастасия.

— Судя по всему, он говорить правда, — сказал Горацио. — Продолжайте про солдат.

— Про солдат ничего сказать не могу, не знаю. Скажу про себя. Выписала мне она антидепрессант какой-то, а также прописала бег трусцой и контрастный душ.

— Дошло до тебя, Горацио? Это же он про психиатра говорил!

— А-а-а! — протянул Горацио.

— Ты будешь пить таблетки?

— Мне таблетки не помогут. Я из тех, кому нужна результирующая идея. Раз уж я пишу такое, что без купюр нельзя напечатать, то нужна другая результирующая идея, которая оправдывала бы мое существование.

— Всем нужна результирующая идея, — заметила Анастасия. — И все могут ее осуществить, если сумеют правильно выбирать цели и следовать им.

— Я уже выбрал. Убить Великого Гетмана, — сказал Иван, снова наливая коньяк.

— Тише! Тише! — в один голос закричали Анастасия и Горацио.

— Не бойтесь. Уже позволено роптать, — опрокинув свой стакан, сказал Иван.

— Это — не ропот! — сказал Горацио. — Это — бунт!

— Да не бойтесь вы!

— Как же не бояться? — повышенным тоном заговорил Горацио. — Стены могут иметь прослушивания! Если так, то вы нас подставляйте!

— Да шучу я, шучу! — с улыбочкой проговорил Иван. — Ну как я, по-вашему, убью гетмана? Где я — и где гетман, — он замолчал, потом добавил: — Хотя, может быть, я и не прав. Может быть, гетман совсем неплохой человек. Он не виноват. Просто его погубило властолюбье. Как там Шекспир писал?

Тот, кто достиг пределов высшей власти,  
Опасен тем, что властолюбье губит  
Сердечность в нем.

Его пожалеть надо, гетмана. Ведь он, бедняжка, себя губит. И, может быть, даже страдает от этого, мучается, не спит ночами, все плачет. Уже подушка мокрая от слез, хоть выжимай, а он, бедный, все плачет и плачет. Поэтому я и не прав. Разве люди бывают правыми? — Он поднялся и подошел к окну. — Вот снег идет — он прав. Не идет снег? — он все равно прав. Звезды высыпали — они правы. Не высыпали — все равно правы. С человеком же все куда сложнее...

С улицы послышался вой сирены.

Горацио бросился в прихожую, схватил пальто Анастасии, помог ей одеться, а затем поспешно оделся сам. Входная дверь захлопнулась.

Иван снова сел за журнальный столик, снова налил, снова выпил, а потом подошел к окну.

Люди бежали в подъезд, в бомбоубежище, но, тем не менее, какая-то женщина спокойно качала в коляске ребенка, а неподалеку старушка палкой перебирала мусор в мусорном контейнере, в котором искали поживу еще и кошка с собакой.

— Ты смотри! — сказал Иван. — Удивительно! Кошка и собака, а несколько друг дружку не боятся и не дерутся! Даже старушка не дерется, а ведь у нее палка есть! И древним, библейским повеяло: «И сказал Господь: сотворим человека по образу и подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле». Хорошо-то как, а тошно. «Какая-то в державе датской гниль».

Он вернулся к журнальному столику, занес было руку, чтобы взять бутылку, но другой рукой как бы убрал занесенную руку и лег на диван.

По часам на стене прошел час, когда в комнату вошла Анастасия.

— Меня очень сейчас интересует один вопрос. Ты с кем будешь? Со мной, с лохом? Или с Горацио? Или сразу с обоими? Это негигиенично.

— Я тебе не говорила, потому что жалела тебя.

— А теперь не жалеешь?

— И теперь жалею, но себя жалею больше. Я за кое-какими вещами пришла. Горацио внизу меня ждет, в Мерседесе.

— Даже так?

— Как есть. Я же говорила, что он миллионер.

— Очень рад за тебя.

— Ты прости меня, Ваня, но ты нытик.

— Но ведь не только из-за этого ты уходишь?

— Не только, но и из-за этого тоже.

— По правде сказать, я понимаю, что я нытик. По правде сказать, так я сам себе говорю сейчас: так тебе и надо!

— Ты будешь принимать антидепрессант?

— А тебя это волнует?

— Волнует.

— Это почему же?

— Не каменное у меня сердце, Иван. Как не хорохорься, а, кланюсь своим велосипедом, не каменное...

## ГЛАВА 43

Погода 31 декабря выдалась не зимняя. Вовсю светило и грело солнце, с крыш капало, оседал на газонах снег, покрытый влажной грязноватой коркой, а ледок на тротуарах почти везде растаял.

Иван сидел на площади Первого Великого Гетмана на скамейке под табличкой «Для тоски» и курил сигарету. Рядом сел неопрятный и помятый мужчина с бутылкой пива в руке и спросил:

— Закурить не будет?

Иван молча вытащил пачку и протянул мужчине.

— Благодарю, — сказал тот, выудил из пачки сигарету и добавил:

— И спички.

Иван поднес ему горящую зажигалку.

В это время подошла и села рядом с Иваном толстенькая женщина, одетая по моде, ушедшей в небытие лет тридцать назад. У женщины на сапогах развязался шнурок, и она, поставив ногу на скамейку, принялась его завязывать, бормоча при этом:

— Говорила мне мама: не надевай сапоги со шнуровкой, надей мои. А я ей: со шнуровкой хочу, со шнуровкой! Вот и мучайся теперь со своей шнуровкой! Вот и получай теперь свою шнуровку! Со шнуровкой хочу, со шнуровкой!

Иван поднялся, выбросил сигарету в урну и снова сел на прежнее место.

— А сигаретой, красавчик, не угостишь?

Иван протянул ей пачку.

— Погодка так и шепчет: займи да выпей! — вытащив из пачки сигарету, сказала женщина и добавила, обращаясь к Ивану: — Я правильно говорю?

Иван пожал плечами.

На скамейку села еще одна молодая женщина. Стройная, черноглазая, лет тридцати пяти, с ярким макияжем, с фиолетовыми волосами, довольно вычурно одетая и с гитарой.

— Тебе с этим парнем ничего не светит, — сказала она хриловатым голосом. — Клянусь своим велосипедом!

— Подумаешь! Я и не собиралась!

— Она не виновата, что какие-то сволочи такие шнурки выпускают, что все время развязываются, — невпопад сказал мужчина. — Не понимают они, что, может быть, своими шнурками жизнь чью-то гробят. Нет в них сердца. А с другой стороны, что такое развязанный шнурок? Подумаешь! Шнурок развязался! Опрятность — не главное. Главное, чтобы у человека было сердце!

— Сразу видно, что у тебя есть сердце, — сказала толстушка.

— Мне, может, когда я тебя увидел, сразу же перестало тосковать, до того захотелось завязать тебе шнурок.

— У тебя большое сердце! — сказала толстушка и добавила: — А четвертак у тебя найдется?

— Займем! Погодка так и шепчет: займи да выпей!

— Тогда пойдем отсюда, они скучные.

Оба поднялись и пошли, продолжая переговариваться друг с другом с какой-то особенной, присущей только алкоголикам в предвкушении выпивки, радостью.

— И смех, и грех! — сказала фиолетововолосая, глядя им вслед.



— Смех сквозь слезы, — поддержал ее Иван.

Какая-то дородная женщина с полиэтиленовыми пакетами в руках, не заметив еще кое-где сохранившуюся наледь, поскользнулась и, охнув, упала. Из пакета выкатились два апельсина прямо под ноги к фиолетововолосой. Та подняла их, подошла к женщине и сказала:

— Вот, возьмите.

— Спасибо за помощь, возьмите один себе, — сказала женщина и пошла, прихрамывая.

— Спасибо, — сказала фиолетововолосая и, посмотрев ей вслед, села на скамейку.

— Дают — бери, — высказала она народную мудрость и принялась чистить апельсин. — Мне ее, конечно, жаль, с одной стороны, а с другой стороны — сама виновата, потому что уж больно спешит. Муж, дети, все такое. В общем — квочка. А квочка она и есть квочка. Тоска!

— Вам к психотерапевту надо, — сказал Иван.

— А кому не надо к психотерапевту? Всем, абсолютно всем надо к психотерапевту, потому что все мы больны смертью, разве не так? — она, грустно вздохнув, протянула Ивану половину очищенного апельсина. Иван взял.

Зазвучал гимн:

Широка Угодия родная,  
Много в ней лесов, полей и рек.  
Я другой такой страны не знаю,  
Где так вольно любит человек.

— Вы почему не встаете? — спросил Иван. — Не боитесь?

— Не боюсь.

— Тогда и я не встану. Кстати, меня Иваном зовут.

— Ну так иди, раз зовут. Шучу!

Гимн закончился, и тут как из-под земли явился полицейский.

— Возрадуемся! — сказал он.

— Возрадуемся! — сказала фиолетововолосая.

— Возрадуемся, — сказал Иван.

— Любите ли вы гетмана? — спросил полицейский.

— Воистину, гетмана. Воистину, гетмана! — по очереди сказали Иван и фиолетововолосая.

— Почему же не встали?

— Заговорились, простите! — извинилась фиолетововолосая.

— «Простите» в карман не положишь.

— Сколько? — спросил Иван.

— Четвертак.

Иван вынул из кармана бумажник и протянул полицейскому двадцать пять евро.

— Двадцать пять с человека, — сказал полицейский.

Иван протянул ему еще одну такую же бумажку.

— Честь имею! — сказал тот, козырнул и ушел.

— И это у них называется честь! — возмутилась фиолетововолосая. — А тебе спасибо, выручил. А я так и не представилась. Меня Александрой зовут.

— Вот и иди, раз зовут, — сказал Иван.

В лице Александры промелькнула растерянность.

— Ты серьезно? — спросила она.

— Да нет, пошутил. Ты пошутила, и я пошутил.

— Это хорошо, что ты только пошутил, потому что ты симпатичный.

— Спасибо за комплимент, — сказал Иван.

— А почему бы нам, не в честь гетмана, конечно, а в честь Нового года не устроить себе праздник? Чтобы стихи хорошие, музыка тихая, свечи, полумрак...

— Новый год уже сегодня, — сказал Иван.

— Так и что? Не успеем что ли? Ты где живешь?

— Здесь. Рядом. На улице Самой Светлой Надежды.

— А я на улице Самых Зеленых Штанов. Смешная у меня улица. Хорошо, что когда-то улицы переименовали, чтоб туристов привлечь. Как в других городах людям, наверное, хочется жить на улице Самых Зеленых Штанов или на улице Самой Светлой Надежды, а живут они на какой-нибудь Заводской или Экскаваторной. Нет, не живут. Только ждут, что будут жить. На таких улицах нельзя жить, а можно только ждать, что будешь жить. Тоска!

— И так и так тоска, — сказал Иван.

— И так и так тоска, — согласилась Александра. — Потому что и я не живу. Я тоже все время жду, что буду жить. Нет, ты симпатичный. Наверное, уже живу.

Она достала из кармана плоскую бутылочку, открыла крышечку и протянула бутылочку Ивану.

— Бальзам на раны.

Иван отпил и сказал:

— Да он крепкий...

— Но ничего?

— На вкус ничего.

— Ты не думай, я только иногда.

— Я и не думаю. Я сам только иногда. Иногда, правда, бывает, что чаще, чем иногда, — он протянул ей назад бутылочку.

— Каламбуришь?

— Разве это каламбур?

— А что это?

— Не знаю что, просто предложение, не каламбур. Каламбур это:

Вы, щенки! За мной ступайте!

Будет вам по калачу,

Да смотрите. Не болтайте,

А не то поколочу.

Вот это — каламбур.

— А ты образованный! Люблю образованных! Правда, плакалась я в свое время от одного образованного... Разошлась... Но с другой стороны, разве можно меня, свободную женщину, сравнить со всеми этими квочками? Тоска!

— И так и так тоска.

— И так и так тоска, — согласилась Александра. — Но моя тоска высокая. Тоска одинокого человека всегда выше по качеству. Это, если хочешь, качественная, плодотворная тоска. Такая тоска как поэзия, как музыка. Может быть, самое важное происходит с человеком, когда он тоскует. Когда его тоска так туго натянута, что аж звенит. «Звенит высокая тоска, не объяснимая словами». Помнишь?

— Помню, — сказал Иван.

— А молодые уже, наверное, и не знают, что была такая песня. Мне их жаль.

— Другие знают, не хуже прошлых.

— Но и не лучше.

— Но и не лучше. Новей только. Новизна — вот что в первую очередь нужно молодости. И мы были такими же.

Иван чуть подался вперед. У памятника Первому Великому Гетману появились Лекрыс с Надеждой. Лекрыс вынул скрипку, сделал проигрыш, а потом Надежда запела. Запела чисто и звонко. Иван вспомнил прошлое. У нее был такой же чистый и звонкий голос, как и в прошлом.

Кажутся порой, в небе над тобой  
Черными, как боль, тучи.  
Тучи — это ложь, просто будет дождь,  
После дождика всегда лучше.

Сыграв песню, Лекрыс снова положил скрипку в футляр, Надежда взяла Лекрыса под руку, и они ушли.

— Мерзавец! — сказала вдруг Александра.

— Кто?

— А скрипач! Футляр не подставил для денег. У меня из-за такого же скрипача психоз был. Лет девятьсот назад играл на этом самом месте, но футляр тоже никогда не подставлял.

Иван посмотрел на Александру с недоумением.

— А что ты так смотришь? Просто гордый был. Во фраке был. При бабочке. Паганини играл, Шуберта, Моцарта. Теперь эти имена почти никто не помнит. Теперь они только в кроссвордах. Теперь другие великие: Поплавский, Пенкин, Боря Моисеев, Шура. Так этот скрипач лет двести назад прям тут же, за игрой и умер. А что ты с таким удивлением на меня смотришь? Ничто не вечно. Наверное, именно из-за этой невечности людям и приходится иногда черт знает чем согревать себе душу. Согреешь душу? — она снова протянула бутылочку.

— Спасибо, но не надо. Я коньяк предпочитаю.

— Да ты, видно, богач! Но не отвлекайся, я тебе про этого скрипача не все рассказала. Так меня из-за него кошмары мучи-

ли. Как будто стоит, играет, а футляр не подставил. Люди бросают ему деньги, а деньги эти куда-то катятся, катятся, закатываются куда-то за тридевять земель, а меня это страшно мучает. «Скажите ему, пусть футляр подставит! — кричу. — Ну скажите же, люди! Да люди вы али нелюди!» А люди от меня шарахаются. И я понимаю, что делаю что-то не так, а сдержаться не могу, все бегаю и кричу: «Да люди вы али нелюди! Скажите ему, что б футляр подставил!». А что ты на меня так странно смотришь?

— Ты сказала: «девятьсот лет назад», А потом «двести лет назад» в твоём присутствии умер.

— Я же про кошмары говорю! Что кошмары замучили! В кошмарах это! — она на мгновенье замолчала, потом продолжила: — Мне часто кажется, что люди на меня как-то не так смотрят. Ну и пусть. Внутреннее важнее внешнего. Во мне, конечно, куча недостатков, и взбалмошная я, но зато честная. Все говорю как на духу. Как на духу скажу тебе, что у тебя печаль в глазах. К тебе бы ни одна приличная женщина не подошла бы. Женщины боятся печали. А я твою печаль ценю. У тебя печаль высокая. Печаль от мудрости. «Много мудрости — много печали», как говорил Экклезиаст, — она помолчала. — А он вчера приходил, извинялся. «Прости, — говорит, — Александра, был во многом не прав». Выгнала.

— Экклезиаста?

— А с тобой легко! Ты мудрый.

— Не мудрый. Когда-то думал покончить жизнь самоубийством. Это — не мудро.

— Ты прав. Жить надо. Даже в горе. Гомо сапиенс вышел из горя. А я знаю, что такое горе. Однажды приснилось, что бальзам кончился. Задрожала все в поту холодном. А время — три часа ночи. Бегу сломя голову в дежурную аптеку, смотрю, а в переходе стоит Эйнштейн и на скрипочке своей пилит. Я поздоровалась — и бегу дальше. А он: «Александра! У тебя в сумочке куча денег, пожертвуй безработному физику!». А я ему: «Нашел время деньги зарабатывать! В три часа ночи в подземном переходе!». А он мне: «Любое время и любое пространство — это либо потерянные, либо заработанные деньги». А я ему: «Это что, теория относительности такая? Тоже мне физик нашелся!». А он

мне: «Да сама ты физик после этого!». А я ему: «А ты еврей!». А он мне: «Да ты сама еврейка!». А я ему: «А ты поэт!». А он мне: «Да сама ты поэтесса!». — «А ты ученый!» — «Да ты сама ученый!». Долго, долго мы орали друг другу гадости. Но тут в переход трамвай въезжает. Без рельсов, без проводов. Но зато на лбу у него, у трамвая, бегущая строка была: «В Европу, в Европу, в Европу». Ну я и села, дура.

— Ну и чем кончилось? — спросил Иван.

— Без трусов вышла. Вот тебе и Европа. Так и поплелась голая. Руками лицо прикрыла, чтобы не узнали, и поплелась. Ревела, как корова.

— Н о ведь это только сон? — сказал Иван.

— Разве? Разве не обнищали мы с этой хваленой Европой? Нет, надоела я тебе, наверное, со своими кошмарами. Давай я лучше тебе спою. Я ведь пою.

Она вытащила из чехла гитару, чуть ее подстроила и запела:

Мне снилась осень в полусвете стекол,  
Друзья и ты в их шутовской гурьбе,  
И как с небес добывший крови сокол,  
Спускалось солнце на руку к тебе.

Но время шло, и старилось, и глохло,  
И поволокой рамы серебра,  
Заря из сада обдавала стекла  
Кровавыми слезами сентября...

Она замолчала, потом спросила:

— Я не старая?

— Ты только усталая. И глаза печальные.

— Это не комплимент, не вранье?

— Нет, я — правду. Я стараюсь, чтобы без обмана, — Иван помолчал, потом сказал: — «Но время шло, и старилось, и глохло». Красиво. Почему?

— Секрет утерян. Вымерли знающие такие секреты или уехали в золотые города под голубым небом. Я бы тоже уехала в какой-нибудь золотой город под голубым небом, если бы были деньги. Но с другой стороны, можно ведь и не уезжать? Можно

замкнуться и сотворить себе маленький уютный мирок даже в глуши, в скиту, в Конотопе. Хорошо там, тихо. Купим дом с огоро- дом, свиней будем разводить, картошку выращивать, а по вече- рам стихи друг другу читать и думать о вечном. Тогда и скит или Конотоп будет тем же, что и золотой город под голубым небом. Может быть, движения и не должны быть передвижениями. Движения должны быть внутри тебя. Душа должна трудиться, а не метаться, как это так часто бывает, — она помолчала и доба- вила: — А он вчера приходил, извинялся. «Прости, говорит, Алек- сандра, но новая, счастливая жизнь будет только через тысячу лет». Выгнала.

— Чехова?

— А с тобою легко! Ну что? Пойдем, зажжем свечи? «Свеча горела на столе, свеча горела»...

## ГЛАВА 44

— По-видимому, мы ошиблись, — сидя на кровати свесивши голову, грустно сказал Художник.

— Да, — согласился Озабоченный. — Голодовка — это уже не ропот. Голодовка — это уже бунт.

— Теперь, по прошествии, можно сказать, что в нашем раб- ском положении это была глупая идея. Не продумали мы ее до конца, — продолжал Художник.

— А кто предложил голодовку? Какой идиот? — повысил голос Озабоченный. — Ах, да! Художник и предложил, сволочь!

— Сохраняйте спокойствие, товарищи декабристы! — при- звал к порядку Давид Давидович. — Эти империалистические прихвостни только рады будут посеять раздор в наших рядах!

— Зря ты, Озабоченный, на Художника взъелся, — сказал Философ. — Мы все виноваты. Мне сдается, что все мы как-то вместе воодушевились. Вопрос теперь не кто виноват, а что де- лать. Ведь заколют же...

— Терпи, товарищ декабрист! — все с тем же воодушевлени- ем произнес Давид Давидович. — Пусть даже мы погибнем, мы погибнем не зря! Декабристы разбудили Герцена, и мы, их по- томки, сегодняшние декабристы, тоже кого-нибудь разбудим!

— Не разбудим. Давид Давидыч. О декабристах знала вся Россия, а о нас никто так и не узнает, — грустно произнес Художник.

— Эй! Голодающие! — раздался старческий голос Маргариты Васильевны из-за забаррикадированной кроватями двери. — Тут ваши родственники под дверью собрались. Послушайте, что они скажут!

— Виталик, а, Виталик! — жалобным голосом проговорили за дверью. — Ты меня слышишь?

— Слышу! — отозвался Гороховый Суп.

— Послушайся маму, брось дурить. Я ведь знаю тебя, ты ведь добрый мальчик был, все к врачу ходил, все докладывал! Чуть что случилось неправильное в палате, ты сразу же к Маргарите Васильевне, так, мол, и так. Молодец. А тут тебя словно подменили. Но я знаю, тебя подбили на это. Ты сам бы ни за что! А я, между прочим, колбасу тебе копченую принесла. Ты слышишь? Что молчишь?

— Слюнки текут.

— Ну так чего же тогда дуришь?

— Ну, у меня есть товарищи!

— Она тебе не товарищи, раз на такое тебя подбили!

— Позвольте теперь я, — послышалось за дверью. — Леня, ты меня слышишь?

— Слышу! — отозвался Леня-барабанщик.

— Я знаю, ты не виноват. Ты барабанщик, ты ноты не знаешь. Поэтому скажи своим друзьям, если их только можно называть друзьями, пусть разбирают свою баррикаду. Вы делаете себе только хуже.

— И Маргарите Васильевне это убийство так и сойдет с рук? — спросил Художник.

— Это было лечение. Не я, между прочим, выдумала это лекарство!

— Знаем. Фашисты выдумали!

— Это ты, Ван Гог? — снова донесся голос Маргариты Васильевны. — Так это ты зачинщик? Молчишь? Ну — молчи, молчи. Я все равно вычислю, кто зачинщики.

— И будете мстить? — спросил Философ.



— Лечить буду, а не мстить. Лечить от неадекватного поведения. Потому что адекватным поведением вашу голодовку не назовешь. Но вы не врачи, вам этого не понять. Этому учиться надо.

— Да куда уж нам! — сказал Философ.

— Маргарита Васильевна, я не хотел, это все они! — крикнул Гороховый Суп. — Я адекватно себя вел.

— Знаю, знаю, милый! Ты всегда был послушным мальчиком!

— Я тоже послушный, Маргарита Васильевна! Это все они. Художник, Озабоченный и Философ! Да еще Давид Давидович! Это они нас с Гороховым Супом подбили! — закричал Леня-барabanщик.

— Вот и молодцы! А теперь не бойтесь, разбирайте вашу баррикаду и спокойненько себе обедать!

Гороховый Суп с Леной-барabanщиком ухватились за кровать, но остальные тут же воспротивились, и началась потасовка. Хоть декабристы и были в численном преимуществе, но Гороховому Супу из-за одной только его огромной массы противостоять было трудно, поэтому, если и было на стороне декабристов преимущество, то самое минимальное.

Неожиданно что-то большое и темное надвинулось на окно, закрыв собой небо, и в палате потемнело. Потасовка почти сразу прекратилась: все расширившимися от изумления глазами смотрели в окно. А изумляться было от чего. Снаружи, на расстоянии вытянутой руки от окна, колыхался блестящий новенький паровоз.

Первым пришел в себя Давид Давидович.

— Я знал, я верил! — закричал он.

— Глазам своим не верю! — воскликнул Философ. — Это же третий этаж, как же это?

— Он, скорее всего резиновый или матерчатый. Как воздушный шар или дирижабль — нашелся Озабоченный.

— Да, наверное... — согласился Философ.

— Да бросьте вы! Тут же явно металлический корпус. Дирижабль с жестким металлическим корпусом. Просто дирижабль в виде паровоза, — все разъяснил со знанием дела Художник.

В кабине летающего паровоза появилась Магдалена. — На ней было черное пальто, черное платье до щиколоток, а на голове по-церковному завязанный темный платок.

— Я за тобой, Олечка! — крикнула она в окно. — Мне голос, типа, был. Типа, возлюбленная дочь моя, не шантажируй одна Брехунца, потому что я, типа, косноязычная. Пусть вещает ему мой возлюбленный отрок. Типа, ты, Олечка. На вот ключ от окна.

Паровоз поднялся чуть выше, так что голова Магдалены оказалась на уровне открытой форточки, и Магдалена бросила в нее ключ от окна. Философ открыл окно, отворил его, шагнул в кабину и обернулся на оставшихся.

— Ну, товарищ машинист! — обиженно заговорил Давид Давидович. — Разве вы не говорили, что за всеми прилетите, а тут вдруг берете с собой только одного Философа!

— Надо их взять, Магдаленочка, — сказал Философ. — Иначе им каюк.

— Всех?

— Не всех. Подойдите сюда, ребята, — сказал Философ.

К окну подошли Озабоченный, Давид Давидович и Художник.

— А тот жирный? — спросила Магдалена и тут же сказала: — Жирного не возьму. Жирный в кабине не поместится.

— И не надо его брать, он предатель! Вперед, товарищи декабристы! — закричал Давид Давидович.

— Вообще-то, можете, на самом деле, типа, пройти в тендер. Только осторожно. Там всякая всячина свалена, надо, типа, разобрать.

Декабристы прошли в кабину, а затем в тендер.

— О! — воскликнул радостно Художник. — Да тут и холст есть, и краски, и кисти!

— Я же говорю, что тут, типа, всякая всячина.

— Ну что, в Небесный Хитропупинск, а, товарищ машинист? — спросил Давид Давидович.

— Нет, — сказала Магдалена. — Приземлимся где-нибудь в песочке и будем ждать гласа божьего.

— Понимаю! Понимаю! — воскликнул Давид Давидович. — Гласа совокупности духов великих людей, живущих в ноосфере!

## ГЛАВА 45

Сергей со скучающим видом лежал на диване перед телевизором и пультом переключал каналы. Раздался стук в дверь.

— Войди, — сказал Сергей.

Вошла мать, низенькая худенькая женщина лет пятидесяти, с таким же, как у сына, треугольным лицом и длинным крючковатым носом, чуть ли не достигающим верхней губы.

— Саша сегодня плакала, — сказала она. — Говорит: «Где мои яички».

— А ты ей объяснила, что у девочек не бывает яичек? — усмехнулся Сергей.

— Это не шуточки! — мать возвысила голос. — Ребенку нужны протеины, а у нас денег только на крупы и картошку, да и то не хватает. Пора бы тебе слезть с моей шеи. Работать пора.

— А что я умею? — по-прежнему глядя в телевизор и переключая каналы, сказал Сергей. — Умел бы замки вскрывать — мог бы открыть свое дело: отпирать двери потерявшим ключи. А так...

— Мог бы чернорабочим пойти, чернорабочим и с судимостью можно устроиться.

— Чернорабочий — это мелко.

— А голодать не мелко?

— И голодать мелко. Надо смотреть на жизнь философски. Жизнь любого человека — это мелочь по сравнению с необъятным космосом.

— Философ сраный! — сказала мать и вышла из комнаты.

Зазвонил телефон.

— Тебя, философ сраный! — крикнула мать. — Женский голос.

— Алло? — подойдя, сказал Сергей в трубку.

— Это я, Герда. Помнишь меня?

— Как такую красавицу забудешь! — усмехнулся Сергей. — Только зачем тебе нужен гусь?

— У меня очень серьезный разговор по поводу твоей специальности.

— На сколько кусков серьезный?

— На две тысячи евро. Устроит?  
— Ну — не знаю. У меня тут нечто более денежное намечается.

— Могу добавить еще пятьсот. Больше у меня попросту нет.

— Ладно, где и когда встретимся?

— Давай в кафе «Грот». Знаешь, где это?

— На улице Самых Счастливых Людей.

— Верно. У тебя нет клаустрофобии?

— Вроде нет.

— Тогда, как войдешь в кафе, спускайся вниз, в сам грот. Там встретимся. В 19:00. Устроит?

— Сегодня второе января. Они могут не работать.

— Я узнавала. С утра они не работают, но с 18:00 уже работают. Пока.

Герда пришла чуть раньше и только успела заказать два кофе, как появился Сергей. Герда отметила, что на нем был все тот же вышедший из моды костюм и та же рубашка.

— Ну, привет, Герда, — сказал он, ухмыляясь.

Герда пододвинула ему чашку с кофе.

— А ведь дела у тебя вовсе не так хороши, как ты пытаешься представить. На тебе все тот же старый костюм. А ведь ты еще молодой, чтобы так совсем уже не следить за модой. Ну? Признайся? — сказала она.

— Ну, признаюсь, и что? Давай лучше о деле. Что нужно вскрыть, сейф?

— Нет, дверь на технический этаж.

— А зачем тебе?

— Тебе это не надо. Меньше знаешь — лучше спишь.

— Значит, это опасно?

— Опасно. Но я же плачу хорошие деньги?

— Что-то я пока не вижу никаких денег.

Герда полезла в сумочку.

— Вот, — сказала она, выкладывая на стол деньги. — Здесь тысяча пятьсот. Остальные — как сделаешь дело.

Сергей взял в руки купюры.

— Ах, денюжки! Как я люблю вас, мои денюжки! — пропел он, положил деньги в карман пиджака и добавил:

— Ну что? Затаримся и пойдем ко мне?  
— Ты хочешь вот так сразу их пропить?  
— Ну, не пропить, конечно. Но повеселиться не мешает. Быть может, последние сутки перед новой отсидкой живу. Пошли ко мне.  
— А без меня никак?  
— А вдруг я где-нибудь завеюсь? Тогда ищи-свищи меня завтра!  
— Тебе нужна нянька?  
— Нет, я не хочу, чтобы ты была мне нянькой. Я хочу не-что поинтимнее.  
— У нас сугубо деловые отношения, раз я тебе плачу. Разве это не ясно?  
— Ясно... Ладно, согласен на няньку. А то ведь завеюсь!  
— А у тебя есть, где спать? Другая кровать?  
— Найдется.  
Герда вытащила из сумочки телефон.  
— А куда ты звонишь? — спросил Сергей.  
— Отцу. Скажу, чтобы не ждали меня сегодня.  
— Вот это — дело! Вот это ты молодец!  
Когда Сергей с Гердой, нагруженные продуктами, пришли в квартиру, дверь открыла мать Сергея.  
— Вот, на, — Сергей протянул ей деньги. — Чтоб не плакалась больше, что денег нет. А где Саша? Я ей вот, — он вынул из кармана плитку шоколада, — шоколадку купил.  
— Температурит что-то Сашенька.  
— Врача вызывала?  
— Нет. Напоила чаем с малиновым вареньем. Думаю, что не страшно. Думаю, что к утру пройдет. Ты скажи, деньги откуда?  
— От верблюда. Давай свою куртку, Герда.  
— Опять какая-то афера? — спросила мать.  
— Не говори так, а то Герда подумает, что я аферист.  
— А что тут думать, если дело ясное, что дело темное.  
— Не слушай ее, Герда. Пошли в мою комнату. И попрошу нас не беспокоить.  
Они прошли в комнату, довольно тесную и бедную: разложенный продавленный диван, поцарапанные журнальный сто-

лик и шкаф, продавленное кресло-кровать. Сергей принялся извлекать из пакетов продукты. На столике появились шпроты, красная икра, копченая колбаса, сыр, баночка маринованных огурцов, нарезанный батон, две бутылки горилки с перцем и бутылка шампанского.

— Неужели ты выпьешь две бутылки? — спросила Герда.

— Ты мне поможешь. Да ты присаживайся.

Герда села в кресло.

— Я не буду пить. Ты же знаешь, что я не пью. И потом у меня завтра должна быть твердой рука. Вот кофе я бы выпила.

— А зачем тебе твердая рука?

— Тебе это не надо. Меньше знаешь — крепче спишь.

— Ладно. Пойду тарелки принесу и сливочное масло. Икру вкуснее всего есть со сливочным маслом.

Сергей ушел, а Герда взяла в руку баночку с красной икрой и принялась изучать этикетку. Потом, все еще не удовлетворившись, открыла банку и понюхала. Появился Николай с тарелками и масленкой.

— Ну, шампанского ты, я надеюсь, выпьешь?

— Шампанского выпью.

— Намажь пока бутерброды, — сказал Сергей, открыл бутылку горилки, налил себе в рюмку, потом открыл шампанское, разлил по бокалам и сказал:

— Ну — за нее, за удачу! — он выпил горилку и запил шампанским.

— А ты дикарь, — сказала Герда, пригубив шампанское. — Кто же водку запивает шампанским?

— «И вкусы и запросы мои странны. Я экзотичен, мягко говоря», — сказал Сергей, зажевывая горилку бутербродом с маслом и икрой. — Знаешь такую песню? Сейчас дожую бутерброд и спую.

— Не спеши. Мне тоже подкрепиться надо. А Сашенька это кто, сестренка твоя?

— Сестренка.

— Сколько ей?

— Семь лет.

— Как и моему брату. А отец твой где? Развелись?

— Умер отец от цирроза печени. Слишком много пил. Но мне его не жаль. Бывало, напьется, и давай меня ремнем обхаживать.

— За что?

— Да ни за что.

— Разве можно так. Детей вообще бить нельзя, а тем более ни за что.

— Жизни ты не знаешь, Герда. Ну что? Споем?

Он снял со стены гитару, чуть подстроил и запел:

Не тверди в строфах унылых:  
«Жизнь есть сон пустой!» В ком спит  
Дух живой, тот духом умер:  
В жизни высший смысл сокрыт.

Жизнь не грезы. Жизнь есть подвиг!  
И умрет не дух, а плоть.  
«Прах еси и в прах вернешься», —  
Не о духе рек господь.

Не печаль и не блаженство  
Жизни цель: она зовет  
Нас к труду, в котором бодро  
Мы должны идти вперед.

Путь далек, а время мчится, —  
Не теряй в нем ничего.  
Помни, что биенье сердца —  
Погребальный марш его.

На житейском бранном поле,  
На биваке жизни будь —  
Не рабом будь, а героем,  
Закалившим в битвах грудь.

Не оплакивай Былого,  
О грядущем не мечтай,  
Действуй только в настоящем  
И ему лишь доверяй!

Жизнь великих призывает  
Нас к великому идти,  
Чтоб в песках времен остался  
След и нашего пути, —

След, что выведет, быть может,  
На дорогу и других —  
Заблудившихся, усталых —  
И пробудит совесть в них.

Встань же смело на работу,  
Отдавай все силы ей  
И учись в труде упорном  
Ждать прихода лучших дней!

Он положил гитару.

— А все-таки, ты замечательно поешь! — улыбаясь, сказала Герда.

— А сам я? Сам я разве не замечательный?

Он встал с дивана, подошел, присел на подлокотник кресла и одной рукой обнял Герду за плечи.

— А сам ты — гусь, — сказала Герда, убирая его руку.

— Все-таки гусь? Даже сейчас?

— Почему ты говоришь «даже»? Что такое особенное произошло, что ты говоришь «даже»?

— Когда я пел, мне показалось, что наши души так сблизились, такими родными стали...

— Тебе показалось.

— Огорчительно. Очень огорчительно. Даже больно. Ну что ж. Налью себе еще обезболивающего.

Он, вздыхая, сделал себе бутерброд с икрой, снова налил горилки, выпил и, закусывая бутербродом, пробормотал:

— Странная вещь получается. Ведь теперь, в связи со всеми этими контрацептивами, совершить половой акт — это все равно, что выпить стакан воды, а ты против. Почему?

— Потому что.

— Спасибо тебе большое. Как доходчиво и подробно ты все объяснила. Ну да ладно. Еще шампанского?

— Лучше кофе.

— Сколько сахара?

— Две ложечки.

— Хорошо.



Сергей вышел из комнаты и прошептал:

— Ну, бля, пойдём другим путем...

На кухне он поставил на огонь чайник, вынул из аптечки бутылек с таблетками, высыпал все в кофемолку, перемолол, высыпал получившуюся белую пудру в чашку, добавил ложку растворимого кофе, воды и размешал.

В кухню вошла мать.

— А что тут делает мое снотворное? — спросила она.

— Это я выставил. Искал что-нибудь от головной боли.

— Там должен быть анальгин, поищи.

— Уже.

Он вернулся в комнату и поставил перед Гердой чашку с кофе.

— Пей пока горячий, — сказал он.

Герда сделала глоток и сказала:

— Да он только теплый!

— Пей пока теплый, а я тебе пока еще спую.

Загудел над перроном прощальный гудок,  
Заскрипели колесные пары,  
Покидаю я вновь свой родной городок,  
Ждут меня деревянные нары.

Вы стройны, вы гладки, но какая тщета:  
Утончать свою душу в бараках.  
Пусть помолвлен я с вами, вы мне не чета,  
Я противник насильственных браков.

Я за веру, надежду, любовь. Мой кумир  
Был Христос, но все вязло в тирадах.  
Оттого не вписался я в ссученный мир  
Демагогов и де демократов.

Загудел над перроном прощальный гудок,  
Заскрипели колесные паты.  
Покидай, моя плоть, мой родной городок,  
Ждут тебя деревянные нары.

Ну, как тебе?

— Хуже, чем предыдущая. Сыровата.

— Ну да. Предыдущая была все-таки Генри Уодсворта Лонгфелло, а это — моя.

— Ты заставляешь меня изменять своим привычкам, — сказала Герда, ставя на столик пустую чашку. — Вообще-то я не пью чуть теплый кофе.

— С волками жить — по волчьи выть.

— Ты — волк?

— Все мы друг другу волки. Вот ты. Ты хочешь, чтобы я открыл тебе какой-то замок, но ведь это опасно?

— Опасно, — подтвердила Герда и клюнула носом.

Сергей налил себе еще горилки, выпил и стал жевать бутерброд.

— Но ты все равно подвергаешь меня этой опасности. Ну, разве ты не курва после этого?

— Что ты себе позволяешь? — уже со слипающимися глазами проговорила Герда.

— То есть, я хотел сказать не «курва», а волк. Разве ты мне не волк после этого? А раз ты мне волк, то справедливость велит, чтобы и я был тебе волком. Ну, бляха-муха, разве не так?

Видно было, что Герда борется со сном.

— Что? Засыпаешь, волчара?

— Ты мразь! — только и сказала Герда, и голова ее безвольно свесилась.

Сергей подошел к креслу и ударил Герду по щеке. Не было никакой реакции. Сергей подхватил Герду, дотащил до дивана, уложил, расстегнул молнию на ее джинсах и стал их снимать.

## ГЛАВА 46

— Я подозревал, что она мне изменяет, — говорил Иван Людмиле, сидя в баре на табурете у стойки. — Пару раз назвала меня чужим иностранным именем и даже, по-моему, не заметила. Или сделала вид, что не заметила. Не знаю. Женщины, все как одна, умеют жутко как правдоподобно притворяться. Мужчине, если в лоб сказать об его измене, — он тут же себя выдаст. Взгляд отведет или глаза опустит, или как-то еще. Женщины не так.

— А, по-моему, умело притворяться могут как женщины, так и мужчины. От пола это не зависит. Артистами бывают и мужчины, и женщины, — сказала Люда и занялась клиентом.

Иван допил свой коньяк и закурил.

— Сильно переживал? — спросила Люда.

— Переживал, но ей не говорил. Ныл, правда. Каюсь, я нытик, ныл, конечно, но про измену не намекал. Разве что раз не выдержал и спросил: кто такой Горацио.

— Тебе надо было бы завести любовницу, и чтобы Анастасия об этом узнала. И при этом вести себя как ничем не связанный холостяк. Надо было, чтобы она тебя приревновала, вот тогда бы она одумалась, начала бы ревновать и забыла бы своего хахала.

— Не одумалась бы. Тут пожирнее кусок, чем сто тысяч евро, тут миллионы.

— Неужели хитропупый?

— Нет, иностранец. Миллионер из Рима.

— Да, Хитропупинск не Рим! Мы еще по деревьям лазили, когда у них уже была великая цивилизация и культура.

— Ну ладно, Люда. Дай мне вон ту стограммовую бутылочку коньяка. Пойду за столик и выпью за упокой.

— За чей упокой?

— За свой.

— Как это?

— Позвонили мне из Службы Безопасности Сельхозугодии, сказали явиться для проверки на детекторе лжи. Но я не пройду эту проверку. Рыльце у меня в пушку. Я действительно сказал, что хочу убить гетмана.

— Говорят, можно дать взятку — и не отправят на рудники. Говорят, 25 тысяч евро.

— Аж неудобно тебе жаловаться, получается, что я тебе все время жалуясь. Но это уже в последний раз. Обчистила меня одна девица, все деньги унесла, все 50 тысяч. Пью на ту мелочь, что в бумажнике оставалась. Эх! А сколько я тебе должен? — он полез за бумажником.

— Нисколько. Ты в таком положении, а я буду с тебя деньги брать?

— Ну да, ну да... спасибо, — сказал Иван, снова тяжело вздохнул, встал, прошел через весь зал и, миновав какую-то парочку, сел спиной к залу за самый дальний столик в углу.

— А я во сне меняю мир, — слышался позади до боли знакомый хриловатый женский голос. — Во сне ведь все можно. Это вчера меня выгнали за пьянку на рабочем месте из супермаркета, а сегодня я была императрицей Японии. А тут вдруг почему-то революция, и я сразу же стала комиссаром, потому что умела читать и писать. А потом, когда Каплан стреляла в Ленина и промахнулась, я в него не промахнулась и сразу же застрелила Каплан, чтобы на меня не подумали. А Ленин, истекая кровью, сказал: «За то, что она застрелила эту мерзавку Каплан, пусть будет моим преемником». Так у меня на руках и умер. Потом мы с Троцким задушили Сталина подушкой. Только ты не подумай, что я извергиня какая-то, я ведь только за ноги держала. Потом Троцкий убежал в Америку, но я и там его достала, я многих тогда достала, и меня, низость-то какая, тоже хотели расстрелять.

— Расстреляли? — спросили мужским пьяным голосом.

— «Но время шло, и старилось, и гложло». То есть, но время шло, и ружья заржавели.

Ивану было и грустно, и смешно одновременно. Александра была в своем репертуаре.

— А может быть, как ты думаешь, направим стопы свои в скит, в Конотоп, в Саратов? Дом купим, огород. Картошку будем сажать. Свиной разводить. Стихи друг другу читать и думать о вечном. А по вечерам: «Свеча горела на столе, свеча горела». Ты допил? Ну что, пошли?

Только они поднялись, как Иван пошел следом и, обогнав их, загородил собой проход. Александра, увидев его, сказала «привет», попыталась продолжить свой путь как ни в чем не бывало, но Иван по-прежнему стоял у нее на пути.

— Где мои деньги, Александра? — спросил он.

— Не знаю, о чем ты говоришь, — твердо сказала она.

— Мужик, — сказал мужчина. — Ты что-то путаешь.

— Ты не знаешь, она воровка, как видно, профессиональная. Где мои пятьдесят тысяч, Александра?

— В глаза не видела! — продолжала упорствовать Александра. — Миша, убери с прохода этого нахала. Это же надо?! Какая беспардонная клевета! Убери его с прохода, Миша!

Миша, небольшого роста полный мужчина, схватил Ивана за рукав. Иван попытался отцепиться, в процессе борьбы оба повалились на пол, а Александра тем временем выскочила из закуской.

— Она воровка! — кричал Иван и, понимая, что Миша не виноват, не пытался его бить, а только пытался сковать его движения. Миша же все старался изловчиться, чтобы сильнее ударить, что ему не слишком удавалось.

— Да разнимите их кто-нибудь! — закричала Люда.

Это была не полноценная увлекательная драка, а возня, и вероятно, поэтому несколько мужчин их скоро растащили. Иван сразу же выбежал из бара, взгляделся налево, направо, но Александры, как и следовало ожидать, и след простыл. Он вернулся в бар.

Мужчина, растрепанный, расстегнутый до пупка, сидел на стуле, но, увидев Ивана, снова кинулся в драку. На этот раз Иван ударил. Миша упал на спину. Иван, постояв над ним, беззлобно произнес: «Дурак ты!», подошел к зеркалу, причесался, привел в одежду в относительный порядок, после чего отправился к стойке и сел на табурет.

— Это была та девица, которая меня обчистила, — сказал он.

— Только ищи-свищи ее теперь! — сказала Люда.

— Откровенно говоря, мне не очень жаль этих денег. Какие-то они были шальные, случайные. Ты же помнишь того мецената?

— Помню. Но как бы то ни было, тебе было бы чем дать взятку.

— Это — да, это — печально. Но даже если меня расстреляют, на этой жизни жизнь еще не кончается.

— А я в бога не верю.

— А я теперь верю.

— Ну и как? Легче с верой жить?

— Немного легче. Без бога тоска, а с богом только грусть.

— Странно это, что есть грусть, когда ты бессмертен, — сказала Люда.

— Ничего странного, — сказал Иван. — И маленькие дети бывают несчастны, хотя и не знают, что их ждет смерть.

— А какой он, бог, по-твоему?  
— Не знаю. Только чистые сердцем бога узрят.  
— Тогда ты, Ваня, узришь.  
— По-твоему, я чист сердцем?  
— Во всяком случае, ты хороший человек. Ты ни на кого не держишь зла.

— Этого мало, надо еще и не делать никому зла, а только добро.

— Ну, это еще ни у кого в полной мере не получалось, — сказала Люда.

Иван посмотрел на ширму, за которой скрылась худенькая посудомойка.

— Да, давно собираюсь спросить у тебя, как там Герда? Она не сильно на меня тогда обиделась?

— Нет. После того, как ты позвонил, что к тебе вернулась жена, мы все обговорили и решили, что сердцу не прикажешь. «Чы вынна ж голубка, що голуба любыць?»

— Ну, я, положим, не голубка... — заметил Иван.

— Какая разница? От неразделенной любви и женщины, и мужчины страдают одинаково. Любой в твоём состоянии снова сошелся бы с женой. А кто была тебе Герда? Только знакомая. Ведь между вами ничего серьезного не было. Какие тут могут быть обиды.

— Не скажи, обиды все равно быть могут.

— Но не у Герды. Хоть ты ей и нравился, но она девушка умная.

— У нее есть кто-нибудь?

— Да, она встречалась. То с одним, то с другим. Но что-то не слышала, чтобы она была хоть от одного из них в восторге.

— И все-таки зря я тогда снова сошелся с Анастасией. Знал ведь, что она ненадежная жена. Но надежда на лучшее, черт ее подери, всегда остается.

— А ты позвони Герде, — сказала Люда, — ведь ты ей нравишься. Ах, я забыла, что тебе в Службу Безопасности... — она помолчала, потом сказала: — А ты спокойный. Неужели тебе не страшно идти завтра в Службу Безопасности?

— Страшно. Очень страшно. Но я хорохорюсь, а когда хорохоришься, не так страшно.

## ГЛАВА 47

С трудом выбравшись из тяжелого, вязкого как смола медикаментозного сна, Герда почувствовала боль внизу живота и, потянувшись туда рукой, оцепенела. Трусики на ней не было. Она встала и огляделась. Трусики и джинсы валялись на полу.

— Мразь! — выругалась Герда, одеваясь и глядя на храпящего в кресле Сергея. — Какая ты мразь!

Перед Сергеем на столике валялось содержимое ее сумочки: расческа, носовой платок, ключи от квартиры, помада, духи, револьвер и деньги. Одна бутылка горилки была пуста, другая выпита наполовину.

Герда собрала высыпанное в сумочку, посмотрела на часы, и крича: «Черт! Черт!» — стала тормошить Сергея.

— Проснись, мы опаздываем! Да проснись же!

Наконец Сергей открыл глаза и посмотрел на Герду мутным полупьяным взглядом.

— Опаздываем! — снова закричала Герда.

— Я, бля, никуда не опаздываю, — сказал Сергей, взял шампанское, стал пить из горлышка, но Герда вырвала у него бутылку.

— Ты же деньги взял! Давай, отработывай! — кричала Герда.

— Деньги я взял, — снова беря в руку бутылку, сказал Сергей. — Но это значит лишь то, что я, бля, восстановил справедливость. Ты, бля, хотела меня использовать, а вместо этого я использовал тебя.

— Ты что же, отказываешься вскрыть замок?

— Я не умею вскрывать замки, я пошутил.

Герда безвольно опустилась на диван.

— Значит, получается, что все было зря?

Она произнесла эти слова не глядя на Сергея, со взглядом, обращенным как бы вовнутрь себя.

— Смотри на это философски, — сказал Сергей. — Жизнь — она, бля, вообще зря. Смысла в ней нет.

Герда подняла на него гневные глаза.

— Ошибаешься! — сказала она, вытащила из сумочки револьвер и навела его на Сергея. — Пристрелить такого мерзавца, как ты, — уже смысл.

— Эй! Ты, бля, не шути так! — в безнадежной попытке защититься Сергей вскинул руки.

— Мразь! — сказала Герда и выстрелила ему в голову.

Через несколько секунд в дверь постучали, и тут же на пороге появилась мать Сергея.

— Вы что тут, петарды взрывае...

Слово «взрываете» застряло у нее в горле: под дулом наведенного на нее револьвера она потеряла дар речи.

Герда некоторое время держала револьвер наведенным, но скоро опустила его.

— Вызывайте полицию, — сказала она.

## ГЛАВА 48

У подъезда на скамейке, как обычно, сидела Вера Львовна и читала все ту же книгу. Подошла Полина Васильевна с метлой и совком, и присела рядом.

— Все Чеха читаете, Вера Львовна?

— Да. Как хорошо он все-таки пишет! Вот послушайте, вот, Тузенбах.

— Еврей? — подозрительно спросила Полина Васильевна.

— Нет, это не Тузенбах, это Вершинин.

— Тогда читайте.

— «А пройдет еще немного времени, каких-нибудь двести-триста лет...»

— И настанет новая счастливая жизнь и будет тебе счастье! — гневно перебила ее Полина Васильевна. — Все одно и то же! Все одно и то же! Ну, а вам-то что?! Да ваши косточки давно сгниют! Двести! Триста! Тысячу лет! Глупая вы женщина. Вера Львовна, коли нудоту такую читаете!

Она встала, отошла на несколько шагов, что-то подмела в совок, вернулась и прокричала Вере Львовне на ухо:

— Дура!



Маленькое личико Веры Львовны сморщилось, она подняла на Полину Васильевну жалобные глаза и уже готова была разреваться, но вдруг выражение ее лица переменялось: отвис подбородок, а глаза в изумлении расширились.

— Федор... — прошептала она.

— Опять залез на дерево, скотина! — привычно проговорила Полина Васильевна, обернувшись, произнесла «ах ты, скоти...», но не договорила: на дереве в петле из бельевой веревки безжизненно висело то, что было прямым потомком Фридриха Великого, при рождении получившее гордое имя Теодор.

## ГЛАВА 49

И снова площадь перед дворцом, куда направлялся Заратуштра, была вся запружена народом, а из громкоговорителей над толпой звучно гудел голос Сидорова, стоящего на ступеньках дворца:

— А теперь давайте продолжим рассматривать все логически от начала бытия. Вот что говорится в библии:

— «И насадил Господь Бог рай в Эдеме на востоке; и поместил там человека, которого создал. И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево приятное на вид и хорошее для пищи, и дерево жизни посреди рая, и дерево познания добра и зла. И заповедал Господь Бог человеку, говоря: от всякого дерева в саду ты будешь есть; А от дерева познания добра и зла, не ешь от него; ибо в тот день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Спрашивается, зачем тогда сажать древо познания? Уж не провокация ли это? Самая настоящая провокация! Так не провокатор ли господь? Самый настоящий провокатор. Так нужен ли нам такой бог? Нет, такой бог нам не нужен!

— Нет бога, кроме Сидорова! — крикнул кто-то, и толпа начала скандировать:

— Нет бога, кроме Сидорова! Нет бога, кроме Сидорова! Нет бога, кроме Сидорова!

Сидоров повелительно поднял руку, чтобы прервать скандирование.

— Пойдем дальше, — сказал он. — Бог сотворил Адама и Еву и сказал им: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю. Но вот вопрос: как дети Адама и Евы могут плодиться и размножаться, если они родные братья и сестры? Налицо инцест, самый настоящий инцест! И если это «совокупляйтесь, братья и сестры» — слово божье, то нужен ли нам такой безнравственный бог? Нет, такой бог нам не нужен!

— Нет бога, кроме Сидорова! — снова начала скандировать толпа.

— Люди, одумайтесь! — закричал Заратуштра. — Библия — не слово божье! Библию писали люди! И зачастую невежественные люди!

Кое-кто из задних рядов обернулся.

— Да, да! Невежественные люди! — повторил Заратуштра.

— Уж не это ли пресловутый Ботиночкин? — спросил кто-то.

— Он, он! Его козлиная борода!

— Я Сапожков, — сказал несчастный Заратуштра, но толпа начала его окружать.

— Ботиночкин он, Ботиночкин! Его козлиная борода! Бей его, ребята! — крикнул кто-то, и не поздоровилось бы Заратуштре, если бы он не вознесся над толпой и не стал невидимым.

Став невидимым, Заратуштра пролетел над толпой и сквозь стекло влетел в закрытые двери дворца. Там, сразу за золотым тронном, уже не виден был помост с лабораторией господина, а была стена с фреской, изображающей Сидорова, схватившего бога за бороду.

Пролетев сквозь эту стену и очутившись в лаборатории, Заратуштра снова застал господина за электронным микроскопом.

— А, это ты... — сказал господь, мельком глянув на него. — Ну, что нового?

— Как вы можете быть таким спокойным? Вы что, не знаете, что какой-то Сидоров организовал бунт?

— Знаю, конечно. Но, понимаешь ли... Что-то скучно жить стало в раю. Давно уже мне хотелось какого-то бурления, чтобы страсти так и кипели, так и кипели. Надоело мне, что все тишь да гладь да божья благодать. «Кубок жизни был бы сладок до при-

торности, если бы не падало в него несколько горьких слез», — сказал Пифагор, и я с ним согласен. И ты бы, если бы не проводил большую часть времени на земле, истосковался бы в раю, в этом болоте счастья. Так что пусть этот Сидоров потешится. Ты мне лучше скажи, как там Иван и Герда? Неужели их обоих посадили в тюрьму?

— Нет, Иван на следующее утро нашел деньги на взятку в коробке с гречневой крупой, куда сам же их по пьянке и спрятал. А Герду суд оправдал.

— Рад это слышать. А как ты думаешь, они будут вместе?

— Как же не быть. Будут они не разлей вода, будут жить долго и счастливо и умрут в один день.

— Спасибо тебе, Заратуштра. После этих твоих слов так хорошо стало на душе, так тепло.

— «Умрут в один день» — это тепло?

— Тепло, Заратуштра, тепло... Печально, но тепло.

## ЭПИЛОГ

Над подернутой кроваво-красным ледком зловонной рекой на высоте примерно пятидесяти метров в воздухе парил паровоз. Под паровозом висело полотнище с нарисованным на белом фоне оранжевым круглым пятном, под которым было написано: «Восходящее солнце. Супрематист Максименко-Малевич». Под тендером тоже висело полотнище с надписью огромными буквами: «Брехунец, сойди с трона по-хорошему!». На набережной толпились люди и обсуждали все эти невероятные явления. По поводу кроваво-красной зловонной реки было высказано мнение, что лед окрасили какие-то водоросли. Было также сказано, что «нет, это не так, это с какого-то химического предприятия отходы слили, сволочи!» По поводу же паровоза большинство сходилось на том, что это такой формы дирижабль. Правда, кто-то сказал, что «никакой это не дирижабль, а настоящий паровоз. А летает он потому, что наконец-то ученые придумали антигравитационный аппарат. Не наши, конечно. Западные. У нас его просто испытывают». Через некоторое время снова было многократно произнесено слово «сволочи». Но на этот раз, кто сволочи и по-

чему сволочи — так и осталось неизвестным. Неизвестным осталось также и то, что люди думают по поводу реющих под паровозом таких смелых, бунтарских полотнищ. Правда, кто-то начал было восторженно: «А посмотрите, какие они смелые! Ну, совершенно не боятся роптать!» Но: «Тише, тише!» — зашикали на него. «Почему? Разве уже не позволено роптать?» — «Да разве это ропот? — возразили ему. — Это уже бунт. На урановые рудники захотели?».

Мимо проходила, судя по выражению лица, крайне захлопотанная мама с мальчиком лет шести.

— Мама, мама! Посмотри! Там — летающий паровоз! — закричал мальчик.

— Я видела, — сквозь зубы процедила захлопотанная мама.

— Да не видела ты, не видела! Ты в другую сторону смотрела!

— А я говорю: видела!

— А я говорю: не видела. Летающий паровоз ты не видела!

— Не показывай пальцем, кому говорю! Ну, погоди! Вот придем домой, я тебе все пальцы поотбиваю! Обещала купить тебе свистульку, а теперь вместо свистульки все пальцы поотбиваю! Выбирай, что тебе больше нравится?

— Мне летающий паровоз нравится!

— Ах, так? Опять показываешь пальцем? Вот тебе, вот!

— Больно!

— Больше не будешь?

— Больше не буду. А свистульку купишь?

— Куплю.

— А водяной пистолетик?

— Куплю.

— А вертолетики с моторчиком?

— Все, хватит! Твой папа не миллионер. Ты думаешь, мне не хотелось бы всё-превсё купить?

— Мама, а ведь так не бывает... — мальчик как будто задумался. — А раз так не бывает — значит это чудо. А раз это чудо, значит это сделал бог...

— Бога нет, — грустно сказала мама. — Вот такая беда, сынок. Свистульки есть, водяные пистолетики есть, даже вертолетики с моторчиками есть, а бога — нет.

- А Деда Мороза тоже нет?
- И Деда Мороза нет.
- И вправду, тоска...

P. S.

Дорогой приятель! Тебе, конечно, интересно, как сложилась наша с Прессией жизнь. Рассказываю: поначалу было тяжело. Да, мой роман напечатали, но разве заработаешь много денег книгами в этом мире гаджетов? Особенно тяжело пришлось после того, как у нас с Прессией родились двойняшки, мальчик и девочка. Мальчик — весь в меня, черненький, а девочка — вся в Прессию, беленькая. Мальчика мы назвали Прессом, а девочку Прессой. Я, правда, устроился на вторую работу, так что оставалось время только на сон, но денег все равно не хватало. Но потом как-то мы посидели-посидели, покумекали-покумекали — и решили продать нашего Пегаса. Все равно он дурака валяет. Поместили объявление в Интернете, и — о чудо! Мы и не думали, что найдется столько желающих приобрести летающего коня в этом мире самолетов, вертолетов и дельтапланов. Решили устроить аукцион. Победил султан Брунея. Не будем называть сумму, за которую он купил нашего Пегаса, а то вас зависть загрызет. Скажем только, что мы купили роскошный загородный дом, пентхаус в районе метро Печерская, кучу престижных автомобилей, а также огромный Боинг, оборудованный внутри под роскошную многокомнатную квартиру. Я, набив руку, стал писать новые романы, а Прессия, помимо воспитания детей, организовала фонд под названием ВПУЖ. То есть: Веганы Против Убийства Животных. Кроме того, мы наняли детям няню-англичанку и четырех гувернанток: француженку, немку, испанку и китайку. Теперь наши дети уже лопочут сразу на пяти языках. Правда, иногда путают слова, все-таки пять языков сразу. Но специалисты говорят, что это с возрастом пройдет. Кроме того, наши дети очень умны: в четыре года они умеют читать, писать и считать, а также часто поражают нас с Прессией своей рассудительностью. И теперь мы за будущее наших малыша и малышки почти спокойны. А что еще надо для счастья?

Одно огорчает. По ночам я часто просыпаюсь от тихого плача. Это плачет Прессия. Удивительно, ведь Прессия — это полная противоположность Депрессии, как же она может плакать? Я спросил ее об этом, и она ответила, что ее плач — это мечта об автомобиле «Ситроен» выпуска пятидесятих годов.

— Так в чем же проблема, — сказал я ей, — мы вполне можем позволить себе еще и «Ситроен» выпуска пятидесятих годов.

— И что тогда? — возразила она. — Тогда я лишусь мечты.

— Да, дилемма... — согласился я.

Быть может, я порадовал тебя, приятель, этой маленькой ложечкой горечи в огромной бочке моего меда. Но, может быть, и огорчил. Тогда — прости. *Нам не дано предугадать...*

## ОГЛАВЛЕНИЕ

Глава 1.....	5
Глава 2.....	8
Глава 3.....	13
Глава 4.....	14
Глава 5.....	16
Глава 6.....	23
Глава 7.....	33
Глава 8.....	37
Глава 9.....	37
Глава 10.....	47
Глава 11.....	57
Глава 12.....	65
Глава 13.....	73
Глава 14.....	82
Глава 14.....	85
Глава 15.....	89
Глава 16.....	90
Глава 17.....	95
Глава 18.....	98
Глава 19.....	102
Глава 20.....	103
Глава 21.....	108
Глава 22.....	111
Глава 23.....	114
Глава 24.....	117
Глава 25.....	122
Глава 26.....	129
Глава 27.....	132
Глава 28.....	134

Глава 29.....	141
Глава 30.....	149
Глава 31.....	151
Глава 32.....	154
Глава 33.....	160
Глава 34.....	166
Глава 35.....	170
Глава 36.....	176
Глава 37.....	180
Глава 38.....	185
Глава 39.....	188
Глава 40.....	191
Глава 41.....	196
Глава 42.....	201
Глава 43.....	206
Глава 44.....	214
Глава 45.....	218
Глава 46.....	225
Глава 47.....	230
Глава 48.....	231
Глава 49.....	232
Эпилог.....	234



Літературно-художнє видання

СЕРІЯ «Бібліотека “Крещатика”»

Заснована в 2023 році

Владимир Матвеев

ТОСКА

*роман*

*(російською мовою)*

Макет обкладинки і верстка Друкарський двір Олега Федорова

Формат 60x84 1/16. Наклад 200 прим. Зам. № 2175

Папір 80 офсет. Друк цифровий. Ум. друк. арк. 15

Гарнітура «Cambria».

Підписано до друку 18.01.2024 р.

Видавець Федоров О. М.,

«Друкарський двір Олега Федорова»

Адреса: а/я 24, Київ-205, 04205, Україна,

e-mail: relaks-oleg@ukr.net

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру видавців,

виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції

серія ДК № 3668 від 14.01.2010 р.

Віддруковано в друкарні ТОВ «7БЦ»

Адреса: 07400, Київська обл., м. Бровари, б-р Незалежності, 2/148

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру видавців,

виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції

серія ДК № 5329 від 11.04.2017 р.



**« — Теперь моя совесть чиста! — радостно сказал я санитарке, покидая поднадзорную палату. — Теперь я могу опубликовать рукопись под своим именем! Я стану личностью! А потом, вдобавок ко всему, поступлю в университет на факультет вещей снов и, выучившись, стану профессором вещей снов. Вы представляете? Я стану единственным в мире профессором вещей снов!..»**



**ДРУКАРСЬКИЙ ДВІР  
ОЛЕГА ОБОДОВОА**

